

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

# Владимир ОДОЕВСКИЙ

---

повести и рассказы  
*часть 2*



ImWerdenVerlag  
München 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА .....	3
ПРИВИДЕНИЕ .....	18
ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ .....	24
СВИДЕТЕЛЬ .....	39
КНЯЖНА ЗИЗИ.....	45
4338-й ГОД .....	74
ДВА ДНИ В ЖИЗНИ ЗЕМНОГО ШАРА .....	93
 ПРИМЕЧАНИЯ .....	 97

Все рассказы, кроме «Два дни в жизни земного шара», печатаются по изданию:  
В. Ф. Одоевский «Повести и рассказы», ГИХЛ, 1959. Примечания Е. Ю. Хин  
Рассказ «Два дни в жизни земного шара» печатается по тексту из сб. «У светлого яра Вселенной». М., 1989

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2006.  
<http://imwerden.de>

## ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

*Посв. Юл. Мих. Дюгамель  
(Козловской).*

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтоб не всегда можно было ее назвать немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжбы, было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своею невестою в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный, румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди; почти с пелен они не расставались друг с другом и заранее, в голове опекуна, они назначались быть мужем и женою. Акинфий Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подальше природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половину предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни; этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое не досмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставить торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, назло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесатерил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую

поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о *пользе* была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиною, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение — демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца — едва ли не прегрешением. Но, к счастью, он успел прочитать еще Томсона, и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом, Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была смесью Бентама, [Томсона](#), [Палея](#) и других английских авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системою, была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из «Четырех времен года». Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о необходимости жить, как он говорил, «сообразно природе». Вследствие этого он восхищался каждым пригорком, каждым изгорбленным деревом; но методизм не заставлял его забываться в этом восторге: он постоянно ложился спать в десять часов, вставал с восхождением солнца и читал к нему Томсоновы стихи; после стихов он пил чай, выкуривал две сигары (ни больше, ни меньше) и садился за работу, которая продолжалась до трех часов; в три часа выходил гулять и к обеду, даже когда обедал один, выходил в белом галстуке и башмаках. Во всех его действиях явственно отражалась эта, благодаря Бога, непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которой англичанин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни, и знает превосходно, но засим ни о чем в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Акинфию Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать десять человек; от того самого дела у него было множество; он любил хлопотать, так как другие любят ничего не делать; а как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всесветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах.

Разумеется, воспитание, которое он дал своим питомцам, было сообразно его системе: он приучил Марию к женским рукодельям и к женскому смирению, а графа ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям: оттого Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тартинки с маслом; плум-пудинг и минцпайзы ей были очень хорошо знакомы; а граф знал тригонометрию, бухгалтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам; сверх того, оба знали почти наизусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову, и только за месяц до свадьбы Акинфий Васильевич позволил будущим супругам прочесть [«Кларису Гарло»](#) Ричардсона.

Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все неприятно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером, которыми невольно любишься, забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которою так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им, никто не роптал на судьбу, видя их счастье, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились

вокруг прекрасной Марии, женщины невольно заглядывались на статного Владимира; но это было удивление, а не ревность, не досада; они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли: их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любят и которому никто не завидует.

Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию; в церковь и в дом набрался почти целый город; поздравляли новобрачных, но к двенадцати часам все разъехались, оставя на свободе молодых. Дядя, заступавший для них место отца, равно посаженные отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детскою невинностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом, как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что ее забыл кто-нибудь из гостей, но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с черной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял ее и ощупал в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать и с ужасом прочел следующее:

«Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастье расстраивает мое счастье, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как простиительно человеку любить себя больше других, то я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку, ибо только вашим страданием я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить вам, и это первое посещение есть только первая степень того зла, которое я вам przygotowляю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего мщенья. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелюсь поднять его, слишком счастливая чета!

*Черная Перчатка».*

Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть все письмо до конца.

— Это, верно, шутка... мистификация... — сказал Владимир нетвердым голосом; но невольно рука его дрожала.

— Нет, — отвечала Мария, — это не шутка и не мистификация; кому бы так жестоко шутить с нами?

— Но кому и желать нам зла? — заметил Владимир.

— Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний?

Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос ее прервался.

— И ты можешь это думать, Мария? — сказал нежно Владимир. — Уверю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдет даром. Если это женщина, — нет нужды, если мужчина — тогда... — И глаза Владимира заблестали.

— Тогда что? — спросила Мария.

— О, ничего! — сказал Владимир, — я постараюсь отплатить тою же монетою.

— Нет, твои глаза говорят не то... Слушай, Владимир, обещаю тебе ничего не предпринимать, не сказавши мне.

— О, к чему эти обещания?

— Обещаю тебе по крайней мере ничего не предпринимать до завтра.

— О, мы, право, дети! — сказал Владимир, рассмеявшись, — глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в угодность ему, провели целый час в тревоге.

— А если он здесь и подслушивает нас? — заметила Мария.

— В самом деле, это не пришло мне в голову, — сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошел кругом комнаты и отворил дверь, чтобы выйти из спальни.

— Не ходи один, — сказала Мария, — надо позвонить людям.

— Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами?

— Так пойдем вместе.

Они вышли из спальни. Огни везде погашены; все в доме спало; на дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно ее собственный образ отражался в зеркалах, когда шорох шагов их повторяло эхо и мерцающий свет мгновенно производил на складках штофа причудливые очерки. Так они обошли весь дом: все было тихо, они возвратились в спальню; тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул занавеску, заря уже занималась.

Дневной свет имеет чудное свойство: он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. То, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди.

— Мы, право, дети, — повторил еще раз Владимир, — кто видал, чтоб первую ночь брака провести над глупою запискою?

С этими словами он подошел к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что не худо показать ее дядюшке.

— Неужели этот вздор может поколебать наше счастье?

— Никогда! — отвечала Мария, обнимая его.

На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядюшке. Дядюшка посмотрел на записку с своим обыкновенным, систематическим хладнокровием и сказал:

— Это какой-то вздор, но которого, однако ж, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку; вам нечего ею заниматься; это уж будет мое дело.

Мы уже сказали, что дядюшка был человек весьма замечательный в своем роде и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрели ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: «Это уже мое дело», — своим твердым, методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить.

Когда все визиты новобрачными были сделаны, Акинфий Васильевич потребовал, чтоб молодые непременно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака, по английскому обычаю, и в первый раз в жизни он, против воли, уступил настоятельным просьбам родственников.

— Поезжайте в деревню, — говорил Акинфий Васильевич, — первое — вы должны узнать друг друга, а второе — человек на сем свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством; помни, что всякий владелец земли на сем свете должен постоянно увеличивать ее производительную силу и что тот, кто ежегодно не увеличивает своего дохода, теряет все то, что бы он мог приобрести. Я нарочно не еду с тобою: я хочу, чтоб ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру, — ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы, — ты и не заметил бы своей потери.

— Дядюшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно?

— Ничего, ничего, пустое. Смерть есть закон природы, а все в природе прекрасно; люди должны умирать, потому, — прибавил дядюшка с значительным видом, — что люди должны родиться; итак, — продолжал он, — ты будешь заниматься хозяйством,

и ты также, Мария. В деревенском доме, в кабинете, на бюро, ты найдешь тетрадку, которую я написал для вас уже лет десять тому назад и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностью — и раскаиваться не будете. Сначала покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами. Более всего старайтесь умерять свои страсти, и даже совсем уничтожать их — после этого все будет легко. Я буду в симбирской деревне, ибо провести лето в городе есть преступление. Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природою? «Ничто так не возвышает души, как восхождение солнца», — говорит Томсон. Теперь поезжайте с Богом; дорожная ваша карета готова, — я сам занимался ее устройством — и лошади уже приведены.

Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их:

— Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезать...

Однако ж Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и наплакались досыта... Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары.

Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам, по испорченным мостам; не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами с станционными зрителями и бесконечными жеребьями извозчиков, — и предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги, чего с нетерпением ожидал не один Акинфий Васильевич, несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый класс ямщиков. В своей деревне, под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое, теплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещенными удобствами жизни. В кабинете, на бюро, действительно находилась положенная десять лет тому назад тетрадь, писанная рукою Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради:

«Муж и жена суть две половины одного и того же существа; но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности и своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества — общей пользы:

1) Муж и жена встают в одно время. Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природою. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для дневных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поет гимн Вседержителю. За этим следовало несколько стихов из Томсона, и в конце примечание: «Зимою супруги остаются в своей комнате».

2) В семь часов супруги завтракают (чай или кофе); после завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы; к его занятиям принадлежат пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под № 26. К хозяйству жены относятся все домостроительство: молочный двор, кухня, прачешная, разные домашние рукоделья, о чем подробнее описано в тетради под № 28.

3) К полдню все распоряжения должны быть кончены, и супруги собираются в столовую для второго завтрака (хлеб, масло и холодный ростбиф); а как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа, потому и супруги должны это время посвящать отдыху...»

Мы не будем более продолжать этой выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись.

Но исполнение дядюшкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели вовремя насладиться природою, пошли гулять во время общего естественного сна; завтракали в половине второго, отчего принуждены были обедать в восемь; после чего они прогуляли вплоть до полуночи и легли спать часу в третьем утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни прошли наизворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали; посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались; наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным; мало-помалу английское систематическое хозяйство превратилось в обыкновенный быт русского барина, где все истребляется, поедается и выпивается, и никто ни о чем не знает и не заботится, полагаясь на православное *живет*, которое *проживает* гораздо более, нежели вся возможная роскошь.

Не мудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня невзначай заметили, что им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать; это происходило очень естественно и от очень простой причины: потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувство развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое; но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тартинках с маслом; а оттого, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться; но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки браниться, а наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастью, граф нашел себе дело: в околоте было много псарных охотников; он познакомился с ними, травил лисиц и зайцев и пил за двух, по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые, однако ж, ужасно ей надоели и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето и часть осени.

Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенный переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы; несколько из поклонников графа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если б он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась; в ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он изъявил свое согласие с большим снисхождением; в голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино, разбавленное обыкновенною нашею беззаботностью и ленью. Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезилось ему ночью. В назначенный для выбора день граф надел мундир и явился с твердою уверенностью быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого! Он не мог прийти в себя от изумления.

— Что это значит? — спрашивал он то у того, то у другого, — какое преимущество имеет мой соперник? он не богаче, может быть не умнее?..

Кто отнекивался, кто отвечал обиняками, многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальною злостию.

— Я вам скажу, — сказал ему наконец один из соседей постарее, — виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный, а вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина.



— Никакого чина! — воскликнул граф, — никакого чина? — и поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существование он и не подозревал.

В самом деле, дядюшка, по своей английской системе, никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить; он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл «владельца земли», и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года два и потом зажить в своем поместье наподобие английского лорда или фермера.

Нечего сказать, жизнь прекрасная, но не по нас. Владимир так привык к дядюшкину попечению обо всем, что до него ни касалось, так привык думать его мыслями, что когда дядюшка сказал ему: «невозможно служить и заниматься своими хозяйственными делами», или «владелец земли обязан посвящать всю жизнь свою улучшению своего состояния», — Владимиру не пришло в голову возражать Акинфию Васильевичу, а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14-го класса.

Происшествие на выборах сильно подействовало на молодого человека; его самолюбие, которое уже расшевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще сильнее было взволновано; общая наша болезнь, чиновничество, или, если угодно, честолюбие, стало мало-помалу закрадываться в его душу; уж ему казалось, что проходящие по дороге не так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах увивались вокруг нового предводителя, потому что он заметил, какое действие производили на окружающих кресты и звезды, не столько заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятью годами. «Что мне гнить в этой деревне! — говорил он сам себе, — мне надобно служить, мне надобно чинов, крестов, звезд, блеска, почестей».

Мало-помалу в уме его начались те вычисления, которые служат обыкновенным, постоянным занятием для закоренелых чиновников; он рассчитал, сколько лет потерял он напрасно, досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою женитьбу, словом сказать, на все на свете.

Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов, — Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побранились — за что, сами не знали, так, потому что надобно было побраниться, каждому сорвать на ком-нибудь сердце: это одна из выгод супружеского состояния.

Дело в том, что на завтра оба стали мало-помалу заговаривать о необходимости оставить деревню; но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какую полевою работою должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства вообще и о красоте сельской природы в особенности?..

Одно обстоятельство вывело их из затруднения: Мария сделалась беременною. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтоб они переехали в Москву или Петербург.

Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графини благотворной силе природы, но, подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых и вместо природы ввериться хорошему акушеру; к тому же, самого его опекунские дела призывали в Петербург, — и наконец он назначил этот город местом свидания с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. *Его* тешили мечты о чинах и крестах, *ее* — петербургские балы; но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатан-

ное черною печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его, и — есть ли возможность не удовлетворить любопытству женщины? В этом письме были следующие немногие слова:

«Вы теперь на верху вашего блаженства; вы скоро будете отцом и матерью; все вам удастся, все исполняется по вашему желанию; но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет и что всякое счастье ваше есть для него новый повод вас ненавидеть и готовить вам втайне всевозможное зло.

*Черная Перчатка».*

Это письмо поразило молодых людей; они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах «все удастся» Владимир видел свою неудачу на выборах: он подозревал, не участвовала ли в этом происшествии эта досадная Перчатка; тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязчивого врага. Марию мучило другое чувство: любопытство узнать, кто была эта Черная Перчатка и что могло быть причиною ее странных преследований; она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своем захолустье; вы видите, что Мария сделалась также гораздо опытнее.

Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлениям их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету, с сожалением посмотрели на окружавшую их дворню, которая плакала навзрыд, а втайне, разумеется, радовалась, что господа уезжают; некоторые из верных слуг на радости были уже вполпьяна; они плакали громче других.

После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии: в дожде, слякоти, изморози — это было 1 мая.

Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все им приготовить. Дом в лучшей части города, в котором даже иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера — все предвидела его неутомимая заботливость. Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надобно было отдавать дядюшке отчет в том, чего они не делали, рассказывать о том, что их не занимало, и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком кругу родилась какая-то принужденность; если б они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить. Но петербургская жизнь, где на каждое дело дается по минуте в день, и то с изъясном, где человек походит на молотильню, которая стучит и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается, — в такой жизни молодым легко было избегнуть от дядюшкиной проницательности.

Скоро в этой жизни постарели наши молодые. Графиня бросилась в эту пропасть с жаждою наслаждений, шума, разнообразия, танцев, волокитства, — граф с разжженною, свежеею страстью честолубия; скоро постигнул он все тайны этого пестрого мира, скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать, с кем познакомиться, к кому оборотиться спиной, выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух, выучился кстати купить и кстати продать, выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешил, не жаловался, но, как искусный полководец, тихо проводил свои траншеи.

Роды графини прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например, он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по тамбовской деревне, ни

объяснить ему, какое действие произвел в урожаях засеянный лет десять тому назад Акинфием Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значащего человека, в котором приглашали графа вступить в службу, и когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врожденной своей склонности к дипломатической части; когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды, его ожидающие, и все это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, «главою домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих», как говорил Акинфий Васильевич, когда акушер уже был возле комнаты графини. Акинфий Васильевич был изумлен, поражен и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твердость и решительность; он даже не нашелся, что ответить молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан.

Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер — повивальная бабка говорила, оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцевала перед родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.

Графиня скоро оправилась. Был великий пост: балы прекратились, графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно; на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется, на варгане, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.

В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестию. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнее был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда, — люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.

— С кем вы сейчас говорили? — спросила графиня.

— Это ваш старинный знакомый, Воротынский.

— Старинный знакомый, — повторила графиня, — тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.

— Он сию минуту просил меня его вам представить... Позвольте?..

— О, без сомнения.

Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем давно он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг посреди самого жаркого разговора она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное им на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:

— Что значат эти черные перчатки? разве вы в трауре?

— В трауре, графиня.

- По ком?
- А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете смеяться.
- Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?
- Мне так кажется: *вы так счастливы.*

При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:

- Скажите же, по ком вы в трауре?
  - Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием — не смеяться.
  - О, полноте; я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?
  - По самом себе, — с важным видом сказал молодой человек.
- Графиня захохотала.
- Разве вы умерли?
  - Я вам сказал, что вы будете смеяться.
  - Ваши слова или не иное что, как шутка, или они очень важны.
  - И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.
  - Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?
  - Знаю, и очень давно.
  - Вы не женаты?
  - Нет.
  - Так вы ничего не знаете.

Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть — и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушной улыбкою, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен, черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность, — разгадать было трудно: все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкою для всех и, может быть, больше всего для самого себя.

На графиню он произвел удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и Черною Перчаткою существовала какая-то связь. Ее женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный, едва слышный голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло.

Музыка снова связала нить прервавшегося разговора. Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивую ноту подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельство, о котором совсем забыла графиня, что Воротынский в своем детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного, и дала Воротынскому повод рассказать графине, как судьба его преследовала с самого детства; тут уже разговор стал цепляться за каждое слово.

Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощеких, довольных собою, для которых несчастье состояло в проигранной партии виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно, но отчего — она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливою: выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей ее собственное чувство и смутным ощущениям ее души придал жизнь и слово. Он рассказал ей о *несчастьи быть счастливым*, о *несчастьи быть богатым*, несчастьи ни в чем не нуждаться, несчастьи исполнять все свои желания, несчастьи прожить несколько лет в чужих краях, наконец о тех тайных, необъяснимых несчастьях, которые тяготят душу человека с умом и чувством, как, например: несчастье слушать хорошую музыку, несчастье смотреть на хорошую картину, несчастье читать хорошие стихи, вообще несчастье жить, — словом, все эти несчастья, которые очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле так же существенны, которым так же невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных.

Все это понимала графиня, хотя эти слова были для нее новы; она вслушивалась в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу; часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства; но молодой человек умел избегать вопросов: они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно оставлял мысль необъясненной, слово недоговоренным — и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил...

«Глупые читатели! — вскричал однажды [аббат Гальяни](#), — вы читаете только то, что написано черным по белому, одне строчки; умеете читать белое по черному, умеете читать между строчками».

Воротынский обладал этим искусством в совершенстве: в пробелах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине.

Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслию, что она богата, молода, прекрасна, что муж ее здоровый, краснощекий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что посему она очень, очень несчастлива. Она любила повторять себе это новое, свежее для нее слово; она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону; она находила, что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то недоставало, словом, она возвратилась домой убежденною, что она очень, очень несчастлива. Графа не было дома; он прислал сказать, чтоб его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому; в доказательство своего несчастья она не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастьем, как ребенок новою игрушкою: она брала то ту, то другую книгу — ей не читалось; роман был в ее голове — чужие ей казались сухи и холодны. В одиннадцать часов возвратился граф с раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа: он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжиною каламбуров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню: он нарушил ее горькое спокойствие, и когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах, наклонила голову на холодный мраморный столик и тихо говорила: «Как я несчастлива, как я несчастлива!»

Утренняя заря застала графиню в этом положении; тут невольно неясная мысль пробежала в ее голове; она быстро подбежала к зеркалу и с ужасом заметила, что бледность и изнеможение ее лица перешли ту ступень, на которой болезнь перестает в женщине быть интересною. Она наскоро закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, по-

том в буфет, очень обрадовалась, когда нашла в нем забытое холодное блюдо и — увы! с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала.

Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение моей графини совершенно неприличным: героиня голодна! героиня кушает!.. Что делать! «Таков закон благодетельной природы!», как сказал бы Акинфий Васильевич. Я боюсь также, чтоб мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней, или нарочно представляю ее в смешном виде: эта мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини, я верю им; эти страдания, повторяю, существенны, ибо всякое страдание может измеряться лишь организацией того существа, которого оно поражает. Нет сомнения, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает; то ли дело с человеком, которого все тело перепутано нервами? То же и в нравственном мире: у иного душа сделана из черепаховой скорлупы, колите ее сколько хотите — что ему нужды! У другого душа нежнее глазной оболочки; троньте перышком — она придет в сотрясение... Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокою чувствительностью, воспитанною человеком, каков Акинфий Васильевич, для которого воспитать значило: выкормить, сделать богатым, который, как мы уже сказали, понимал все физические потребности жизни и ни одной сердечной, поступавший с душою словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутою, привязал бы ее на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился безрукий; но с графиней было другое дело: долго она не участвовала почти ни в чем, что с нею ни делали; но настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было наыворот обыкновенному? Первым учителем графини была скука; потом тайное чувство недовольства, темное, невыразимое; потом любопытство, возбужденное человеком в черных перчатках; потом наслаждение его слушать, или, лучше сказать, говорить его словами, словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далекой родины... Не обвиняйте бедной графини, не смейтесь над нею: много было смешного в ее страдании для проходящих, но она страдала, как страдает бедное нежное животное, из южной отчизны перенесенное равнодушным ученым на холодный север, в коробке, под номером. Насмешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным: на лице мертвого есть улыбка.

Вот два часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи: в великопепной гостинной солнце светит в штофные занавески; мебели расставлены в беспорядке, но с какою-то изысканностью. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пеньюаре, обшитом кружевами, беспрестанно встает с своего места? отчего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырехугольно загнутые волосы? Она в беспокойстве, она чего-то ждет необыкновенного и потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее... Но вот раздался звонок. «Воротынский», — проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресла; сердце ее билось сильно, но лицо ее было спокойно и холодно. Этот визит был короток; теперь это были не люди нечаянно встретившиеся и, как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам; нет, это были расчетливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга — один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных; разговор прерывался на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал; графиня сказала ему только одно слово: «au revoir j'espère»<sup>1</sup>, — но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека.

---

<sup>1</sup> до свиданья, я надеюсь (франц.).

У графини вечера, музыкальные утра; графиня очень любит пикники и кавалькады; во всех этих удовольствиях участвуют и молодые мужчины и молодые дамы. Граф почти всегда сопровождает жену свою, но как-то всегда остается назади возле одной молодой дамы, а графиню и Воротынского всегда уносят лошади вперед; или случается напротив: граф ускакивает вперед, а графиня остается назади; в этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастья; у графини разнуздывается лошадь или распускается стремя; это могло бы иметь неприятные последствия, но, к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который все это приводит в порядок. Он называет себя стремянным графини — *écuyer de Madame*. Так называют его и другие.

Время идет, и очень весело. Прошло лето; известно, что все семена интриг сеются на петербургской почве летом, на дачах, под шум проливного дождя, цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет возвращать это растение в одно лето; но графу, как человеку еще неопытному, надобно было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в\*\*\*. Дядя вздохнул и только мог промолвить:

— А имение?

— А вы, дядюшка? — отвечал молодой человек.

— Я уже стар, — отвечал дядя, — все, что я могу сделать, это постараться продать его.

— Это бы не худо, — отвечал граф, — но есть маленькое препятствие: оно заложено.

— Заложено! — воскликнул дядя, — разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию?..

— Да, любезный дядюшка, и которая мне совершенно удалась.

— Как я рад, любезнейший друг, — сказал дядя, — что ты обратился на путь истинный, и какой хитрец! скрывал от меня свои расчеты. Ну, расскажи мне поскорей, в чем состоит твоя спекуляция.

— Я уж рассказал вам ее, дядюшка...

— Как, когда же? — воскликнул старик.

— А мое определение к месту?

Акинфий Васильевич повесил голову.

— Мне твоим имением заниматься нельзя, — сказал он печально, — а без хозяйского глаза все пойдет вверх дном. Впрочем, если твое имение заложено только в казну, то продать еще можно, и с выгодною.

— Да-с! — сказал граф, — но оно заложено и в казну и в частные руки.

— Дорого стоила тебе твоя спекуляция!

— Не дешево, дядюшка; хорошее даром не дается.

В другое время Акинфий Васильевич рассердился бы; но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени; он оторопел — все его мысли замолкли, заговорила одна природная чистота сердца, и он воскликнул:

— Быть так, без денег жить нельзя: я тебя не оставляю.

Между тем в доме графини происходила другая сцена. Графиня, в задумчивости, с слезами на глазах, сидит в креслах, а Воротынский большими шагами ходит по комнате.

— Графиня! — говорит он, — надобно на что-нибудь решиться: или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или, Мария, ты остаешься здесь!

— Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить?

— Знаю, — отвечал он, — это будет значить, что вы разрываете все связи с своим мужем.

— И ты не боишься за меня? ты не боишься ни мнения света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист!..

Графиня зарыдала... Но молодой человек был неумолим. На лице его, как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека.

— Мнение света! — сказал он хладнокровно, — свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что от него не скрывают; он любит откровенность в жизни и любопытен только к секретам; тогда свет начинает доискиваться — и беда той женщине, про которую нечего сказать! свет сердится и наказывает невинную женщину клеветой... Надобно быть решительною в жизни, выбрать ту или другую роль: или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, которые будут клеветать на тебя для того только, чтоб занять свою даму во время танцев, — или сказать свету. «Я тебя презираю, не страшусь твоих толков, поступаю так, как мне велят мои чувства», — и тогда свет делается смирен, как овечка; он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его! Выбирайте, графиня...

Графиня молчала.

— Неужели нет возможности, — сказала она наконец, — согласить эти две крайности? Я понимаю, что тебе жить в одном со мною городе невозможно; но я каждый день буду писать к тебе, ты будешь приезжать к нам...

— И ты называешь меня эгоистом, Мария? Как? мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на лету его глупости, давать им умный смысл и потом подносить ему в виде комплиментов? этою низкою лестью покупать счастье видеть тебя изредка, пополам со страхом? Нет, Мария, жизнь коротка; и без того она наполнена горечью; зачем натекать на страдания, когда одним решительным словом можно упрочить свое счастье? Ты сама не каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества, не каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий?..

— Все это так, — отвечала Мария, — но совесть, совесть! ты забыл о ней.

Воротынский вспыхнул, но лицо его даже не покраснело; он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал:

— Что касается до совести, то на эту задачу я советую попросить объяснения у его сиятельства, который так жестокосерд, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц.

С сими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку:

— Что ты говоришь, Виктор?

— Вы знаете, — отвечал он, — что я говорю всегда правду, и всем, кроме вашего мужа, когда уверяю его, что он очень остроумен. Госпожа\*\*\* отправляется, если не с вами, нежная чета, то по крайней мере вслед за вами.

Мария бросилась в кресла; Воротынский удалился.

Однажды Акинфий Васильевич, очень встревоженный, вошел в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги.

— Что это значит? — сказал Акинфий Васильевич, — ты жену свою оставляешь здесь?

— Она сама этого желает, — отвечал граф с замешательством. — К тому же, любезнейший дядюшка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется на некоторое время.



— Я тебя не понимаю...

— Видите, дядюшка, — продолжал граф, — мне совестно вам признаться, но нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствием, если мы останемся вместе: вы знаете, как опасны тайные враги...

— Кто же это? — воскликнул дядя.

— Черная Перчатка.

— Черная перчатка? Боже мой! знаешь ли ты, что эта Черная Перчатка был не кто иной, как я.

— Как? вы? — вскричал молодой человек.

— Да, мой друг; я счел нужным употребить эту маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного, что вы слишком будете счастливы; а как совершенное счастье противно природе, я боялся, что ваше счастье скоро вам наскучит. Я выискивал средства, как бы вам навлечь маленькое беспокойство, которое бы заставляло вас бояться друг за друга и теснее бы укрепило связь между вами.

Молодой граф едва мог удержаться от смеха. Акинфий Васильевич продолжал:

— В это время меня уговорили прочитать роман Вальтера Скотта, а именно «Редгонтлет»; там одна сцена, где девушка из партии **якобитов** бросает перчатку рыцарю английского короля, дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изобретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь.

— Благодарю вас, дядюшка: вы нас избавили от большого беспокойства; но все-таки графине со мной ехать нельзя. Вы заметили, как испортилось ее здоровье.

— Нет, я этого не заметил.

— О, как же! — возразил граф, — с ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно.

— Кроме танцев, — печально заметил дядюшка.

— Да... танцы, — сказал граф, — для развлечения; но вообразите себе длинный путь, дурные дороги; если б у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело... Вы понимаете?

— Понимаю, все понимаю, — отвечал печально старик.

Он видел ясно, что все его планы для счастья его питомцев расстроены, но не мог себя упрекнуть ни в чем. Он устроил их имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображением, от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе, отчего не удалось ему его систематическое на *практических* правилах основанное воспитание?

Чем же все кончилось? Акинфий Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством и восхищаться природою. Граф поехал в\*\*\* к своему месту, и не один. Графиня осталась в Петербурге.

## ПРИВИДЕНИЕ

(Ник. Вас. Путяте)

...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириной Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириной Модестович говорил без умолка; всё — мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка — всё подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, — и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания — а Иринею Модестовичу только того и надо.

— Что это за замок? — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка, — вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, — прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.

— Я про него знаю, — отвечал Ириной Модестович, — точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно — была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех годах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все \*\*\*ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, — было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незванные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околоте, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную, и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество \*\*\*ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких жертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, — понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить

все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в \*\*\*ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

— Позвольте вас остановить, — сказал начальник отделения. — Как это, — будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте, — мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! как это можно!..

— Говорят, — отвечал Ириной Модестович, — что где обращение хозяйки проще, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

— И я того же мнения, — прибавил отставной капитан, — терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол — и пошла потеха...

— Нет, воля ваша, — возразил начальник отделения, — не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое умение жить с людьми, умение каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириной Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириной Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан, — что Ириной Модестович одного с ним мнения.

Ириной Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не стовариваясь заранее. Должно, однако ж, признать, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую — и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливнем, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

— Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения, — без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразил Ириной Модестович, — эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириной Модестович продолжал:

— Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание, и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «*Épître à Uranie*»<sup>1</sup> или из «*Discours en vers*»<sup>2</sup> Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться: любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

«Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение — и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но быюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет тридцать тому назад, — я тогда только что еще вступил в службу, — наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками — словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

— Кому принадлежит этот кондитерский пирог? — спросил я однажды у моей хозяйки.

— Моей приятельнице, графине\*\*\*, — отвечала она. — Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, — продолжала хозяйка, — много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека, и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным

<sup>1</sup> «Послание к Урании» (франц.).

<sup>2</sup> «Рассуждение в стихах» (франц.).

ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное *пятно* своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особенно теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в непрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время — она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, — сказала она, — но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые, — наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство, — эгоизм торжествовал. «Прочь, — вскричала она. — Я не знаю тебя; проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностию произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите моего ребенка». «Проклинаю тебя, — повторила раздраженная графиня, — и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целью жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доньше старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады — рай, одним словом!

балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?

— А не худое дело! — заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены *нашею* хозяйкою, и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнью в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини — славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предавался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружающих мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне перед толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околота разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О, — сказала графиня, — что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково

было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампы, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» — но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, Бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите». И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностью, — сказал он, — рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

«Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспреданно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели — и вообразите себе, — прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, — ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

— Странно! — заметил капитан, — очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

— Тут нет ничего удивительного, — сказал он важным голосом, — многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закобалил себя; год прошел, другой, — день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, — нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках номер.

«Что с вами? — закричал я ему, — сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: я *решенное дело!*» И начальник отделения захохотал; у Ириней Модестовича навернулись слезы.

— Ваша история, — проговорил он, — печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Ириней Модестовича:

— А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

— Нет, — отвечал Ириней Модестович.

— Странно! — проговорил капитан, — очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

— Неужели в самом деле рассказчик-то умер? — спросил я.

— Я никогда этого не говорил, — отвечал быстро Ириней Модестович самым то-  
неньким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

## ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

(Посв. графине Е. П. Растопчиной.)

— Скажите, сделайте милость, как перевести по-русски слово солидарность (solidaritas)?

— Очень легко — *круговая порука*, — отвечал ходячий словарь.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека.

«Об этом надобно написать целую книгу».

*Из романа, утонувшего в Лете.*

Что это? — никак, я умер?... право! насилию отлегло... нечего сказать — плохая шутка... Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается... Да что же? ведь, никак, оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — да где же у меня душа?.. да где же и тело? здесь! да где ж у меня руки, ноги?... Батюшки-светы! вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу, пропасть! Да ведь это я лежу — нет! и не я! — нет! точно, я; словно на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу... Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиною; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно... что вы плачете? — что? — Не слышат! Да и я своего голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дай-ка еще погромче — ничего! только как будто легкий ветерок поддувает, — чудеса! право, чудеса! Да уж не сон ли это? Пом-



ню: вчера я был очень здоров и весел и в вист играл, и очень счастливо; вот вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с аппетитом, и поболтал с приятелями о том о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко, — как вдруг ни с того ни с сего тяжело, тяжело... хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевелинуться — не могу... Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся... то есть какое проснулся? то есть очутился здесь... Где здесь?... И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Постой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, да нет пальца, право нет... Постой, что бы выдумать? дай посмотрюся в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу, пропасть! и в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постелю, на постели лежит... кто? я? — ничего не бывало! я перед зеркалом, — а нет меня в зеркале... Поди, пожалуй, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я, и не здесь, и живу я, и не живу, и двигаюсь, и не движусь... Это что? бьют часы; раз, два, три... десять; однако ж пора в канцелярию — там есть у меня интересное дельце. Надобно насолить этому негодяю Перепалкину, который все на меня наушничает... «Эй! Филька! одеваться!..» Что я? как одеваться? Невозможно! Бывало время, что мне надеть было нечего, а теперь еще хуже — не на что... Однако ж не худо заглянуть в канцелярию... да как же туда отправиться? карету приказать — невозможно; нечего делать — пойти пешком, хоть и неприлично. Двигаться-то мне с одного места на другое очень легко... дай попробую; благо двери открыты... Вот мой кабинет, гостиная, столовая, передняя; вот я и на улице... да как легко, земли под собой не слышу, так и несусь — хочу скоро, хочу тихо... Да это, право, недурно — и шагать не надобно... А, вот и знакомые! «Здравствуйте, ваше превосходительство! раненько изволите идти?..» Прошел мимо и внимания не обратил... Вот и другой: «Здравствуйте, Иван Петрович!» Тоже ни гу-гу — странно! Батюшки! коляска — во весь опор! тише, тише! наедешь дышлом! не видишь, что ли?... Ахти! сквозь меня коляска проскакала, а я и не почувял, кажется, так надвое и раскроила, а ничего не бывало — чудеса, да и только. Однако ж, если на то пошло, ведь, право, мое состояние не плохо: легко, хорошо, никакой заботы; не нужно ни бриться, ни умываться, ни платья натягивать, гуляй куда хочешь, — вольный казак; можно без прогонов всю землю изъездить, никакая тебе опасность не грозит — уж чего тут? коляска сквозь меня проехала, и вот хоть бы что! Так вот она смерть-то; вот она что такое... А награда, наказание? Впрочем, правду сказать, награды я не ждал, — не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-какие грешки... ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право... вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему... да что ж тут делать? человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку-с-соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтоб лучше за их нравственностью наблюдать, сам воспитал их, научил важнейшему — *как жить в свете*, и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется, иногда, смотря по обстоятельствам, понатягивал... да! как подумаешь, понатягивал — но только когда можно было натянуть... кто ж себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собою... дай Бог всякому так сводить свои дела... А! да вот и канцелярия! Посмотрим, что-то здесь делается. Так, сторож дремлет по-всегдашнему — уж вот что с ним ни делай. «Сидоренко! Сидоренко!» — не слышит! и двери затворены... Как тут быть? хоть век оставайся в передней, — добро бы у нужного человека... А! вот кто-то идет... мой чиновник, — ну, двери настезь... «Батюшка! помилуйте, прихлопнули», — да нет, я сквозь доску прошел... А что, подумаешь, ведь это не так дурно... как я этого прежде не догадался? Так, стало, для меня нет ни дверей, ни запоров; стало

быть, нет от меня и секрета?.. ну, право же, это недурно, — весьма может пригодиться при случае... Ах, лентяи! чем бы делом заниматься, а они кто на столе, кто на окончине развалились и точат ляды. Хоть бы привстали, невежи, — хоть бы поклонились — вот приучи их к порядку... А! вот и старший; посмотрим, не пугнет ли их немного...

Старший. Господа! нельзя ли по местам? Ведь болтать можно и сидя за бумагой; не все равно? кто вам мешает? оно, разумеется — почему не так? — вот мы, бывало, в старину, в канцелярии и в картишки игравали, да с оглядкой — и ничего, право! Столы у нас тогда были маленькие: вот мы бумаги разложим, и давай в бостончик; идет начальник — мы карты под бумаги; начальник войдет — все благоприлично; а то что вы, нынешние? развалились по столам, по окошкам; ну, войдет Василий Кузьмич — когда тут вскочить? Беготня, беспорядок — беда, да и только, особливо теперь: ждет награды, знаете какой бывает сердитый в это время...

Один из чиновников. Еще рано Василию Кузьмичу. Он вчера до трех часов в карты играл...

(Всё знают, проклятые!..)

Второй. Неправда — он у Каролины Карловны...

(И это знают, злодеи!..)

Третий. Ничуть — у Натальи Казимировны...

(И это также... кто б это подумал?..)

Четвертый. Да неужли у него две интриги разом? этаким старик...

Третий. Старик? смотри, коли он нас всех не переживет! Поесть ли, попить ли — его дело, и в ус не дует! Даром что святошу корчит... всех нас за пояс заткнет...

Тыфу, негодяи какие! Не знал же я вас прежде!.. И слушать больше не хочу... Сорванцы, болтуны!.. Вот, постойте!.. Опять забылся; уж не унять мне их!.. А досадно: уж как бы раскассировал... Что тут делать? Эх, волки их ешь!.. Надобно чем-нибудь развлечься. Дай пойду послушать, что скажет князь, как услышит о моей кончине, как пожалеет... Ну, скорее. В приемной одни Кирила Петрович — и в слезах, — верно, обо мне: то-то, друг один никогда не изменял! Хорошо, что не знал ты одного дельца... сказал я про тебя одно словцо, которое ввек тебя бороздить будет, — да нечего было делать: зачем тебя назначили именно на то место, которого мне хотелось... кто себе враг? Но, кроме этого, я тебе всегда во всем был помощник, и ты можешь обо мне поплакать. А! вот к князю и двери отворяются... Войдем...

Кирила Петрович. Я к вашему сиятельству с неожиданным, горестным известием: Василий Кузьмич приказал долго жить...

Князь. Что вы говорите? да еще вчера...

Кирила Петрович (*всхлипывая*). Сегодня ночью удар; прислали за мною в восемь часов — уж едва дышал; все медицинские пособия... в девять часов Богу душу отдал... Большая потеря, ваше сиятельство.

Князь. Да, признаюсь — таких людей мало: истинно почтенный был человек.

Кирила Петрович. Деятельный чиновник...

Князь. Правдивый был человек.

Кирила Петрович. Прямая, откровенная душа! Уж, бывало, что скажет, верь как святому...

Князь. И вообразите — как будто нарочно, только сегодня сошло об нем представление...

Кирила Петрович (*плачет*). Ах, бедный! А он так ждал его...

Князь. Что делать! видно, судьба его умереть без повышения... Жаль!..

Кирила Петрович (*рыдая*). Да! уж теперь ему ничего не нужно...

Василий Кузьмич. Как не нужно?.. Помилуйте, ваше сиятельство! за что же такая обида? Да! я и забыл... уж не нужно и повышения... Ах, обидно! Ну уж, видно, я и впрямь умер... Да отчего бы так, впрочем? что нужды, что я умер! ведь я в отставку

не подавал: пусть бы чины себе шли да шли... кому ж от того помеха? а и мертвому приятно... Ах, не догадался я прежде! Что бы составить об этом проекте... Досадно, больно...

Кирила Петрович. Да, теперь ему более ничего не нужно! Но у него осталось семейство... если б ваше сиятельство...

Князь. Как же! с большою охотою. Заготовьте мне записку... Но только я вам должен сказать, — ваше искреннее участие в Василье Кузьмиче делает вам много чести.

Кирила Петрович. Как же иначе, ваше сиятельство. Он был мне истинный, неизменный друг...

Князь (*улыбаясь*). Ну, не совсем...

Кирила Петрович (*отирая слезы*). Как не совсем? Что вы хотите сказать этим, ваше сиятельство?..

Князь. Да, теперь дело прошлое, а я скажу вам; если вы не получили того места — знаете?., то не кто другой тому причиною, как Василий Кузьмич... Мне больно это вам открыть, а это так...

Василий Кузьмич. Аи! аи!

Кирила Петрович. Вы меня сразили, ваше сиятельство!.. Да что ж он мог про меня сказать?..

Князь. Да ничего в особенности, а так вообще заметил, что вы человек неблагонадежный...

Кирила Петрович. Да помилуйте, ваше сиятельство, это одно слово ничего не значит — надобны доказательства...

Князь. Я это знаю; я вступался за вас; но Василий Кузьмич только и твердил: «Поверьте мне, я его давно знаю, неблагонадежен, неблагонадежен вовсе...» Это дело, как вы знаете, от меня не зависело, Василий Кузьмич был с весом — и к нему все пристали.

Кирила Петрович. Ах, лицемер, лицемер! Уж если на то пошло, я доложу вашему сиятельству: меня он уверял, что против меня были вы, что он, как с вами ни спорил, как ни заступался за меня...

Князь. Он вам просто солгал...

Кирила Петрович. Поверите ли, ваше сиятельство, не было на свете коварнее этого человека; с виду мужиком смотрел, и то и дело на языке: «Я человек простой, я человек простой», — и прямо всякому в глаза смотрел, — а тут-то и норовит обмануть; всех проводил, ваше сиятельство, всех обманывал... Вот только была бы ему какая ни на есть пользишка... отца бы продал, сына б заложил, мать бы родную оклеветал... право!

Князь. По крайней мере нельзя отнять у него, что он был человек деятельный.

Кирила Петрович. Какой деятельный, ваше сиятельство! Лентяй сущий: только что мастер был бумаги спускать. Вникните-ка в его дела — ничем не занимался. Да и когда ему было? С утра до вечера или интригует, или в вист. Ничего у него не было святого: как дело поважнее, потруднее, так и свалит его на другого; уж на это такой был тонкий!.. Такой всегда предлог отыщет, что и в голову не придет... А там, смотришь, как другие дело все сделали, он его так обернет, как будто сам его сделал... такой хитрец!..

Князь. Но все-таки он был человек не корыстолюбивый...

Кирила Петрович (*горячась*). Он? такого корыстолюбца свет не привидывал. На маленькие дела он не пускался, потому что осторожен был, как заяц; но изволите помнить его поручение в чужих краях: откуда все его богатство?..

Князь. Как? неужли? Полно, правда ли?

Кирила Петрович *(продолжая горячиться)*. Да помилуйте, ведь я сам при нем был, я все знаю — всех обманул, продал... а доказательств нет — все прикрыл...

Василий Кузьмич. Аи, аи, аи!

Князь. Я вам очень благодарен, что вы мне это открыли. Мне остается пожалеть, что вам не вздумалось этого сделать немножко раньше...

Кирила Петрович. Ах, ваше сиятельство! Что было делать! Старинная связь, дружба, — человек сильный.

Князь. И которого покровительство вам было нужно, не так ли?.. Прощайте, сударь... *(Уходит.)*

Василий Кузьмич. Что, брат, взял? Вот что значит наушничать...

Кирила Петрович *(опомнясь)*. Аи! оплошал, погорячился слишком... Проклятый лицемер, душегубец! И по смерти-то пакостит мне...

Василий Кузьмич. Однако ж очень недурно, что я умер; не то плохая бы мне была шутка. Ну, что его слушать! Полечу-ка к другим друзьям: может быть, кто-нибудь и добром вспомнит. А, право, весело этак из места в место летать.

*(Друзья Василия Кузьмича за обедом.)*

Первый друг. Так вот как, батюшка! чрез два дня мы на похоронах у Василия Кузьмича? Кто бы подумал? Еще сегодня должен был у меня обедать; я ему и страсбургский пирог приготовил: он так любил их, покойник.

Второй друг. А пирог славный — нечего сказать...

Василий Кузьмич. Да! вижу, что славный! Странное дело: голода нет, а поесть бы не отказался... Что за трюфели! как жаль, что нечем...

Третий друг. Чудный пирог! позвольте-ка еще порцию за Василия Кузьмича...

*(Все смеются.)*

Василий Кузьмич. Ах, злодеи!

Первый друг. Ну, уж Василий Кузьмич не такую бы порцию взял: любил поесть, покойник, не тем будь помянут...

Второй друг. Ужасный был обжора! Я думаю, оттого у него и удар случился...

Третий друг. Да, и доктора то же говорят... Он вчерась, говорят, так ел за ужином, смотреть было страшно... А что, не слышно, кто на его место?..

Первый друг. Нет еще. А жаль покойника, так, по человечеству...

Третий друг. Мастер был в вист играть...

Все. О! большой мастер!..

Первый друг. У него, знаете, этакое соображение было...

Второй друг. А что нынче в театре?..

*(Толки о городских новостях, о погоде... Василий Кузьмич прислушивается: об нем ни слова; он заглядывает в каждое блюдо.)*  
*(Обед кончился; все садятся за карты; Василий Кузьмич смотрит на игру.)*

Василий Кузьмич. Что за игра валит — вот так-то — шлем! Козыряйте, козыряйте, Марка Иванович — нет! пошел в масть! Да помилуйте, как можно?.. с такой игрой — да ведь вы им офранкировали даму... Ах!., как бы я разыграл эту игру — как жаль, что нечем! — опять не то. Марка Иваныч! да вы, сударь, карт не помните... позвольте мне сказать вам, я человек простой и откровенный, у меня что на сердце, то и на языке... да что я им толкую — не слышат!.. Ах, досадно! Вот и робер сыграли...

вот и другой... Ахти! так руки и чешутся... досадно! — Вот чай подают — не хочется пить — а выпил бы чашечку — это тот самый чай, что Марку Ивановичу прямо из Кяхты прислали — уж какой душистый — чудо! вот хоть бы капельку... Ох! досадно.

Вот и игра кончилась; за шляпы берутся, прощаются: «Прощайте, прощайте, Марка Иванович?» И ухом не ведет... Ну, куда же мне теперь деваться? сна ни в одном глазе. Разве пойти по городу прогуляться; вот уж и экипажи стали редеть, — все попритихло; огни гасят в домах: всякий в постелю — все забыл, спит себе во всю ивановскую; а я-то, бедный, — мне некуда и головы приклонить. А! да что я? дай-ка проведу Каролину Ивановну... Что, я чай, плачет обо мне, горемышная? Э-ге! да и огонь у ней не погашен, — видно, и сон на ум нейдет; тоскует по мне, бедненькая! Посмотрим. Сидит в кабинете... Ахти! да не одна! это тот смазливенький, что я встретил однажды у ней на лестнице, да приревновал, — а она еще уверяла, что знать его не знает, что, верно, он ходил к другим жильцам! Ах, злодейка! Послушаем, что она с ним толкует. Какие-то бумаги у ней в руках; а! мои заемные письма. Что она с ними хочет делать?

Каролина Ивановна. Так слушай, Ванюша: ты смотри не прозевай. Я не знаю, как это у вас делается; предъявить, что ли, надобно эти заемные письма; как, куда, когда — разужнай все это, моя душа. Мне куда потерять их не хочется; если б ты знал, чего они мне стоили! Уж такого скряги, как этот Аристидов, и свет не привидывал; ревновать — ревновал, а уж мне сделать удовольствие — того и не жди; насилие из него вымучила; да этого мало — нет-нет да и спросит: «Покажи-ка мне, Каролинушка, заемные письма, — я позабыл, от какого они числа», — чуть было из рук не вырвал однажды: а не то, придет у меня же денег взаймы просить — у меня! Так, говорит, на перехватку. Такой бесчестный! Хорошо, что протянулся; теперь мы с тобой славно заживем, душа моя Ванюша...

Василий Кузьмич. Ах, злодейка! обнимает его! цалует! — Тьфу, смотреть досадно! так сердце и разрывается — а делать нечего! Плюнуть на нее, негодную, изменщицу, — да и что она мне далась?... А уж куда хороша, проклятая... У! у! бесстыдная... плюю на тебя. Вот уж Наталья Казимировна не тебе чета... Посмотреть, однако ж, что-то делает и эта? Уж также не нашла ли себе утешителя. Вот ее квартирка! и огня нет. Посмотрим, уж не больна ли она? — Нет! спит себе да всхрапывает как ни в чем не бывало. Уж не с горя ли? Какое с горя! у постели брошено маскарадное платье: в маскараде была! Вот ее поминки по мне... И как спокойно почивает! раскинулась так небрежно... как хороша! что за прелесть... ах! как жаль!.. Ну, да нечего жалеть! ничем не поможешь... Куда бы деваться? — разве домой... а что ж, в самом деле?.. Какая тишина на улицах — хоть бы что шелохнулось... А это что за господа присели тут за углом... что-то посматривают, как будто чего-то поджидают; уж верно — недоброе на уме... Посмотрим. Ге! ге! да это плут Филька, мой камердинер, что сбежал от меня... Ах, бездельник... что-то он поговаривает...

Товарищ Фильки. Ну, да где ж ты научился по *музыке ходить*<sup>1</sup>, что, ты из *жульков*<sup>2</sup>, что ли?

Филька. Нет! куда! Совсем бы мне не тем быть, чем я теперь. Отец у меня был человек строгий и честный, поблажки не давал и доброму учил; никогда бы мне *музыка* на ум не пришла... Да попался я в услужение к Василию Кузьмичу, вот для которого скоро большая *уборка*<sup>3</sup> будет...

Товарищ Фильки. Да что, неужли он *мазурил*?..<sup>4</sup>

<sup>1</sup> То есть воровать. Слово из *афеньского языка*, о котором лет пять тому были напечатаны в «Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из поговорок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афеньским словам. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> Маленький мошенник. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>3</sup> Похороны. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>4</sup> Воровал. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Филька. *Клевый маз*<sup>1</sup> был покойник... только, знаешь, большой руки. Знаешь, к нему хаживали просители с *стуканцами*...<sup>2</sup>

Товарищ Фильки. Постой-ка — никак, *стрёма*<sup>3</sup>.

Филька. Нет! — *Хер*<sup>4</sup> какой-то... Да куда наша *фига*<sup>5</sup> запропастилась?..

Товарищ Фильки. Да нельзя же вдруг...

Филька. О! проклятое дело! продрог как собака...

Товарищ Фильки. Ничего — как рассветет, в *шатун*<sup>6</sup> зайдем... ну, так ходили просители...

Филька. Ну да! ходили... а Василий-то Кузьмич думал, что я простофиля... Вот, говорит, приятель пришел; что он тебе отдаст, то ко мне принеси, а тебе за то си-ненькая; вот я делом-то смекнул; вижу, что Василию-то Кузьмичу не хочется, зазора ради, из рук прямо деньги брать, а чтоб того, знаешь, какова пора ни мера, на меня все свалить. Я себе на уме — за что ж мне даром служить? вот я и с Василия Кузьмича магарычи, да и с просителя подачку...

Товарищ Фильки. Так тебе, брат, *лафа*<sup>7</sup> была...

Филька. Оно так! да вот что беда: как пошли у меня стуканцы через руки ходить, — так сердце и разгорелось, — больше захотелось... а между тем Василий Кузьмич меня то туда, то сюда; поди-ка, Филька, вот то проведай, а того-то проведи, — а вот этому побожись, будто меня продаешь, — и разным этаким залихватским штукам учил, — так что сначала совестно становилось, особенно, бывало, как отцовские слова вспомнишь, а потом и то приходило в ум: что же тут дурного для своей прибыли работать? Василий Кузьмич — не мне чета, уж знает, что делать, а от всех почтен, уважен... что ж тут в зубы-то смотреть? уж коли музыка — так музыка. Да этак подумавши, — я однажды и хватил за *толстую кису*<sup>8</sup>, да так, что надобно было лыжи наострить, — а с тех пор и пошло, чем дальше, тем пуще; да теперь вместо честного житья — того и смотри, что буду на *Смольное*<sup>9</sup> глазеть...

Товарищ Фильки. Смотри, смотри, *фига* знак подает...

Филька. А! насили-то! (*Встает.*)

Товарищ Фильки. А *фомка*<sup>10</sup> с тобою?

Филька. И нож также...

Василий Кузьмич. Ах ты бездельник! вишь, я его еще научал! я ведь совсем не тому... Пойдет теперь — обворует, может быть смертоубийство совершит... Как бы помешать... Помешать! — а как помешать? Кто меня услышит? Ох! жутко! — куда бы деваться — хоть бы не видать и не слышать... скорей домой... так авось не услышу... вот я и дома. Еще мое тело не убрали — да! еще рано. А! вот и племянница не спит, плачет, бедненькая!.. Добрая девка, нечего сказать; точно покойный ее отец! Никогда злое и на ум не взойдет; хоть десять раз его обмани, — ничего не видит! То-то добрая душа... да так он с одной доброй душой и на тот свет отправился: где-то он теперь; хоть бы встретить! потолковали бы кое о чем. Ну, не плачь, Лиза, мой друг! горем не поможешь; пройдет — утетишься. Вот смотри, выйдешь замуж, все горе забудешь... Ну, а что сыновья-то делают? Не спят также — однако ж не плачут... Разговор, кажется, живой... послушаем.

<sup>1</sup> Большой вор. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> С деньгами. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>3</sup> Караульный, дворник. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>4</sup> Пьяный. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>5</sup> Лазутчик. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>6</sup> В питейный дом. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>7</sup> Славное житье. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>8</sup> Большую сумму. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>9</sup> Уголовное наказание. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>10</sup> Лом. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Петр. Уж ты что ни толкуй, Гриша, если мы этого дела не смастерим да случай упустим, так куда у нас доброго убудет...

Гриша. Оно так! да совестно что-то; ведь мы знаем, что она действительно дочь покойного дядюшки...

Петр. Мы знаем, да суд не знает, а судит по тому, что есть на бумаге...

Гриша. Да знаешь, что и Лизы-то жаль. Что за добрая! словно овечка... Ведь мы с ней маленькие игравали... знаешь, брат: ведь чувство такое есть...

Петр. Ну, зафилософствовался! Мало тебя за это отец покойный бранил! уж он ли не говорил тебе, что с твоим философствованием век дрянью будешь: так и выходит...

Гриша. Я помню, что отец говорил... да, однако ж, как подумаешь, — что с Лизой-то будет? куда она голову приклонит?

Петр. Да! так что же?.. Слушай, брат Гриша, скажу тебе напрямки: отец-то у нас уж куда умный человек был, и доказал, что умный: от гроша до миллиона дошел, а помнишь его любимую поговорку: «Свою крышу крой, сквозь чужую не замочит». Вот оно что. А ведь тут по двести тысяч на брата, Гриша; ведь на улице не поднимешь...

Гриша. Оно так... Ну, да как Василий Кузьмич какое распоряжение сделал?

Петр. Да! он таки сделал распоряжение — и я знаю какое. Ты еще был мал, не помнишь, а я помню. Как дядя умирал, так и просил: «Я, говорит, не успел — болезнь захватила, — а дело важное — у Лизы бумаги не в порядке. Сохрани Бог, ты умрешь, — другие наследники привяжутся, отобьют у ней наследство. Сделай милость, выхлопчи все доказательства ее происхождения, а не то — беда. Я на всякий случай все ломбардные билеты на имя неизвестного перевел, чтоб какова пора ни мера, все-таки Лиза не без куска хлеба будет. Пусть они теперь остаются у тебя, — а как подрастет, отдай ей, — да между тем выхлопчи ее бумаги-то... не забудь, — да и ты, Петруша — отцу припомни...» Прошел год по кончине дяди, — я еще тогда был молод, неразумен, ничего не понимал, какие вещи есть на сем свете, — вспомнил я дядин приказ и заикнулся об нем отцу. А Василий Кузьмич посмотрел на меня, поморщился, да и молвил: «Что ты, отца-то учить, что ли, хочешь?» — «Да я, батюшка, подумал, что между делами...» — «Что я забуду, что ли? — спросил отец. — Нет, Петруша, какие бы у меня дела ни были — я главного дела никогда не забываю — помни это». В те поры я не совсем эти слова понял, но потом — как начал входить в разум, смекнул в чем дело; да однажды — уж неспроста — заговорил с отцом об Лизиных бумагах. Старик посмотрел на меня еще пристальнее прежнего и, кажется, отгадал, что у меня было на уме. «Много будешь знать, скоро состареешься», — сказал он, знаешь, с своею миловидною улыбкою, да потом ударил меня по плечу и промолвил: «Слушай, Петруша, ты, я вижу, малой-то не дурак будешь... знаешь ли ты, что такое деньги? не знаешь? — я тебе скажу: деньги — то, чем мы дышим; все на свете пустяки, все вздор, все дребедень... одна вещь на свете: *деньги!* помни это, Петруша, — с этим далеко пойдешь...»

Василий Кузьмич. Когда, бишь, это я ему говорил?.. А точно! говорил... экой плут какой! — вспомнил — да к чему же он клонит...

Гриша. Ну, так что ж ты думаешь?..

Петр. Да думаю то, что дело и по сю пору на том стоит: то есть что билетов на четыреста тысяч на имя неизвестного лежит у отца в комод, — а Лиза покамест ничего, не отца своего дочь...

Гриша. Да как же это?..

Петр. Да так же! Стоит нам помолчать, и четыреста тысяч наши...

Гриша. Ах, брат, да совестно...

Петр. Ну, занес философию! совестно что? помолчать? добро бы говорить... Ведь слышишь, четыреста тысяч, — четыреста... знаешь счет или нет?..

Гриша. Ну, а как отец-то какую записку оставил?..

Петр. А что, и в самом деле? Вот уже правду покойник говаривал: «Что бы ни случилось, головы не теряй, главного не забывай». Пойдем-ка посмотрим у него в бумагах... благо, я ключи-то захватил...

Гриша. Ах, брат, страшно. Ведь это... знаешь... подлог...

Петр. Эх книги-то тебя с толку сбили! Уж дрянью был, дрянью и будешь... Да, нечего времени терять: скоро утро; я и один пойду, если ты трусишь... а ты сиди, хоть стихи сочиняй на досуге...

Василий Кузьмич. Ну, вижу — этому малому плохо не клади, — экой разбитной какой!.. А жаль Лизы-то; впрочем, ведь не моя она дочь... Ну пришел; эх начал шарить; видно, чутье у него: так прямо на Лизины билеты и напал. Задумался... шарит в бумагах... еще задумался... Ну, что же!.., как? в карман? Э-ге! вот уж это дурно, Петруша... Что ты? что ты?.. Потащил! Ай-ай! что-то будет...

Петр (*возвращаясь в братнину комнату, встревоженный*). Записки нет никакой... я все перешарил...

Гриша. Ну, что ж! хорошо...

Петр. Да, очень хорошо! Ты здесь что делал?..

Гриша. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

О золото! Металл презренный!

Нас до чего доводишь ты? —

только рифм не могу отыскать...

Петр. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую... Только смотри, брат! я человек честный, как видишь, мог бы всем воспользоваться, да не хочу, ты все-таки мне брат, хоть и дрянь; вот тебе половина, припрятать-ка скорее... да смотри не проболтайся.

Гриша. Что ты? что ты, брат? Да как же это ты взял без родственников, прежде осмотра?..

Петр. Что? дожидаться осмотра?.. ах ты, философ! Сам же меня надоумил...

Гриша. Я?..

Петр. Да кто же? Ведь ты сказал, что, может быть, Василий Кузьмич распоряжение какое сделал, может, записку какую оставил; я по твоим словам и пошел, записки не нашел, а тут и подумал: а что, как где найдется? ведь на грех мастера нет! а как деньги припрятаны, так и концы в воду; там пускай после и осматривают, и опечатают: «Знать не знаем и ведать не ведаем; какие были билеты, те и остались!»; а остались-то билеты все на имя батюшки, то есть которые достанутся нам по наследству... Что? не дурно?..

Гриша. Так... да все-таки... я не знаю что-то...

Петр. Берешь деньги или нет? коли не берешь, так, пожалуй, я и все себе возьму...

Гриша. Ну уж... давай, давай...

Василий Кузьмич. Нет! грустно что-то становится, а сам не знаю отчего... как-то странно! и благоразумно, да и нехорошо, однако благоразумно... Что-то в толк не могу взять... а душно мне здесь становится, пойти на воздух, да благо уж и утро... лавки отворяют... люди выходят... им весело... а мне скучно все что-то... дай заверну в кондитерскую. А! газеты разносят... хоть их почитать от скуки... А! моя некрология! Посмотрим. (*Читает.*)



«На сих днях скончался такой-то и такой-то Василий Кузьмич Аристов, искренно оплакиваемый родными, друзьями, сослуживцами и подчиненными, всеми, кто знал и любил его. А кто не любил сего достопочтенного мужа? Кому не известны его зоркий ум, его неутомимая деятельность, его непоколебимое прямотушение? Кто не ценил его доброго и откровенного характера? Кто не уважал его семейные добродетели, нравственную чистоту? Посвящая всю жизнь трудам неуспешным, он, не желая отдать детей в общественное заведение, успевал лично заниматься их воспитанием и умел образовать в них подобных себе достойных сограждан. Прибавим к сему, что, несмотря на важные и многотрудные свои занятия, почтеннейший Василий Кузьмич уделял время и на литературу; он знал несколько европейских языков, был одарен изящным вкусом и тонкою разборчивостью. Здесь кстати заметим нашим врагам, завистникам, порицателям, нашим строгим ценителям и судьям, что почтеннейший Василий Кузьмич всегда отдавал нам справедливость: в продолжение многих лет был постоянным подписчиком и читателем [нашей газеты](#)...»

Ну уж тут немножко примахнули; никогда не подписывался — даром присылали... так... из угождения... Ну, что еще такое?

«Он знал и верил, что мы за правду готовы жизнью пожертвовать, что наше усердие, благонамеренность... чистейшая нравственность... участие публики...»

Ну, пошла писать! Это еще что за приписка?

«Долгом считаем уведомить читателей, что нашей газеты на нынешний год остается немного экземпляров, и потому... подписка принимается у известного своею честностью и аккуратностью книгопродавца...»

Ну, уж это их домашние дела; рады были к чему-нибудь прицепиться... однако ж спасибо и негодьям за доброе слово...

Что это за шум на улице!.. Ага! возвращаются с похорон. Уж не с моих ли? Дайка послушать, что-то обо мне говорят.

- Делец был хоть куда, да одно плохо... Мимо.
- Претонкая был штука!..
- Уж ты что с ним ни делай, всегда вывернется!..
- Аккуратный человек...
- Без стыда и без совести...
- Гвоздин через него в люди пошел...
- По миру пустил и меня, и детей...
- И взятку взял, да в прах разорил, — верно, там больше дали...
- Никогда не брал...
- Брал, да искусно, через камердинера...
- Что вы?
- Уж кому это лучше меня знать?
- И с живого и с мертвого...

Тьфу, пропасть! и слушать неприятно!.. вот, живи после этого! оберегайся, рассчитывай каждый шаг, обдѣлывай дела свои умненько, умер — все открылось! Нет! нечего сказать, грустно, да и досадно — рта никому зажать нельзя!.. Куда бы деваться?.. Куда? разве побродить по городу... благо день...

Вот уж и потемнело! Не знаю отчего, как-то мне ночью страшно становится... Кажется, чего мне теперь бояться... а вот под сердцем так что-то и колет... Куда бы деваться? а! театр освещен? Давно уж я там не был — да, благо, и за вход не надобно платить. Посмотрим-ка, что такое дают? «Волшебную Флейту» — никогда не видал. Ах, да, опера! вот музыки я никогда не любил — так, душа к ней не лежала... Ну, да нужды нет, только бы вечер убить...

Что это за аллегория такая? человек и сквозь огонь и сквозь воду проходит... то есть ему здесь разные испытания... посмотрим-ка поближе (*на сцене*), э! вода-то картонная, да и огонь-то тоже... да еще молодец-то пересмеивается с актрисой... оно и здесь, как везде: снаружи подумаешь невеста что, а внутри пустошь, крашенная бумага да веревки, которыми все двигается. (*Обращается к зрителям.*) А! недурен вид отсюда на публику! Послушайте, господа, что вы видите здесь — совершенный вздор; вот, здесь парни в высоких шапках — маги, что ли, что они за околенную несут и про добродетель и про награды, такие и между вами есть, — все неправда. Они толкуют так потому, что за то деньги получают; да кто и выдумал-то все это, тоже из денег хлопотал; в этом вся штука! Поверьте мне: я в самом деле и сквозь воду и сквозь огонь прошел — а все вышло ничего; жил, имел деньги — было хорошо, а вот теперь что я такое? так! ничто! Слышите, что ли? Никто не слышит, все смотрят на сцену... видно, что-нибудь хорошо, отойти подальше. (*В партер.*) Так! я этого ожидал! в награду за добродетель, за подвиги — исполнение всех желаний, и свет, и покой, и любовь — да! дождись... Однако ж, как подумаешь, если б в самом деле добыть такое тепленькое местечко, где бы ничего не видеть, не слышать, забыть обо всем!.. Занавес опустилась — вот и все! все идут по домам, всякого ждет семья, друзья... а меня? меня никто не ждет! Эта глупая пьеса на меня тоску навела. Куда бы деваться? не оставаться же здесь в пустом, темном театре... Ах! если б уснуть? Бывало, что и неприятное случится, заляжешь в постелю, заведешь глаза, и все позабудешь, а теперь вот и сна нет! Грустно!.. (*Несется по городу.*) Ух! вот как проходишь мимо этих домов, даже жутко становится, так и слышится: вот здесь бранят, там проклинаят, там насмеются надо мною... и ушей нечем себе зажать, и глаз не можешь закрыть — все видишь, все слышишь... Куда это меня тянет?.. Никак, за город?.. а! кладбище! да! вот и моя могила... вот и мое тепленькое местечко! Здесь и он лежит! у, какой! и червяк у него ползет по лицу! А все-таки ему веселее моего; по крайней мере он ничего не чувствует... Да и мне даже здесь лучше, нежели там; хоть и не слышишь людского говора... Ох, грустно! грустно...

Кажется, я уже начал позабывать дни... уж не знаю, сколько и времени проходит... Да и на что мне знать? Только и отрады мне, что на моей могиле... тихо! едва потянешься куда, опять и брань и проклятия!.. Однако хотелось бы посмотреть, что у меня в доме творится?.. Дай потащусь... Ну! в дорогу! что это снова меня тянет... Какая-то бедная квартирка... Э-ге! да тут Лиза, моя племянница... стало быть, дети-то выгнали ее из дома. Ох, нехорошо! Кто это у ней? А! молодой Валкирин, что приволакивался за нею... Аи! аи! чтоб не было беды... О чем это они поговаривают...

Валкирин. Скажите, Лизавета Дмитриевна, неужели у вас не осталось никаких бумаг после покойного батюшки?

Лиза. Все, какие были, переданы еще батюшкой Василию Кузьмичу... Но что с тобой сделалось, Вячеслав? Ты расстроен, бледен как смерть?..

Валкирин. Не спрашивайте меня, Лизавета Дмитриевна! Ужас... ужас!.., что у вас было четыреста тысяч, это верно, что они украдены — это еще вернее... Я двинул дело, и готовится следствие, но знаете ли, какое возражение приготовили ваши братья? они утверждают, что у Дмитрия Кузьмича никогда не было дочери!..

Лиза. Как не было, а я?

Валкирин. Это знают: вы, я, и они это знают, но в бумагах нет никаких доказательств...

Лиза. Как! я не дочь моего отца? да что же я такое?

Валкирин. Пока не найдутся доказательства, вы — ничто... вы — самозванка.

Лиза. Боже мой! какой ужас!.. Но как это можно?. Пусть спросят!.. Кто не знает, что я дочь моего отца?..

Валкирин. Повторяю вам: все знают; но в бумагах этого нет, а это главное...

Лиза. Что ж делать теперь?..

Валкирин. Времени терять нельзя; я выхлопотал себе отпуск и в нынешнюю же ночь отправляюсь в бывшую деревню вашего батюшки; там, вероятно, я отыщу какие-нибудь следы...

Василий Кузьмич. Да! дожидайся! много отыщешь!..

Лиза. Я не знаю, Вячеслав, как мне благодарить тебя... все меня оставили, все гонят, — один ты...

Валкирин. Вы знаете, какой я жду награды! одного: вашей руки...

Лиза. О! она давно твоя, но не теперь, не в эту минуту... ты сам беден, я не хочу, чтоб ты женился на нищей, да и твой отец никогда на это не согласится... я не хочу быть причиной раздора в вашем семействе, особенно теперь, когда я... страшно вымолвить... даже не дочь моего отца! *(Рыдает.)*

Валкирин. Скажите только одно слово... я не посмотрю ни на что... вы завтра же будете моею женою.

Лиза. Нет, благородный человек! я не хочу воспользоваться твоим самоотвержением, а ты также не захочешь унижить меня: теперь твое предложение — почти милостыня, в которой я буду упрекать себя; будь доволен тем, что моя рука, моя любовь принадлежат тебе... Бог все устроит — и тогда ничто не помешает нашему счастью.

Василий Кузьмич. Они кидаются друг другу в объятия, оба плачут, беденькие! Мне даже как будто жаль их; а как помочь? Ах, кабы знал да ведал, оставил бы ей что-нибудь на прожизнку... А то, вишь, плуты, все себе захватили... Ведь правду сказать, теперь мне на что? Не все ли равно, тем бы или другим досталось?.. Ах! жалко! душу теснит, смотреть на них больше не могу!.. Нет, жутко мне здесь оставаться... скорей вон из города, чтоб только не видеть и не слышать ничего!..

Как будто дышишь здесь привольнее; оно таки скучно одному по большим дорогам таскаться, а все лучше... Ба! кажется, знакомые места... Да! как же! вот и город, в котором я на своем веку славно попиrowал. Что, там помнят меня или забыли?.. Вот и дом, в котором я жил; посмотрим, что в нем творится... А! вот и мой прежний подчиненный! приятно встретить знакомое лицо! С ним какой-то приезжий, и очень встревожен; послушаем, что они толкуют.

Приезжий. Скажите, неужели действительно ничего не сохранилось из этого драгоценного собрания?

Провинциальный чиновник. Повторяю вам, что Василий Кузьмич приказал все истребить.

Приезжий. Но с какой целью?

Провинциальный чиновник. Да так, для чистоты и порядка. Как теперь помню: сидел он за вистом, призвал меня к себе и говорит: «Что это, батюшка, у вас там много старого хлама? куда его бережете? только место занимает, а мне вот некуда моих людей поместить». Я было заикнулся, что, дескать, древность большая, а он как на меня прикрикнет: «Прошу, батюшка, не умничать! прошу все это старье собрать,

на пуды продать и деньги ко мне представить, а комнаты очистить, чтоб послезавтра мои люди могли туда перейти».

Приезжий. Так что же вы сделали?

Провинциальный чиновник. Я должен был исполнить приказание. Какие свитки были, продал в свечные лавки, а вещи в лом.

Приезжий. Как вещи? разве были и вещи?

Провинциальный чиновник. Да, только все старье: платье, бердыши и много-много вещей, которых и назвать не сумеешь... Например, были часы; говорят, им было лет четыреста, только старые такие, глядеть не на что, даже не благоприлично. За одиннадцать рублей с полтиною слесарю продали; все старье, говорю вам...

Приезжий. Боже мой, какая потеря!

Провинциальный чиновник. Я уж и сам жалел, да делать было нечего. Да что это вас так интересует?

Приезжий. Как мне объяснить вам это? В этих бумагах хранился единственный экземпляр одного важного документа для нашей истории; я употребил все мое небольшое имение, чтоб отыскать его; изъездил десятки городов и наконец вполне убедился, что этот документ нигде, как у вас... Теперь все десятилетние мои труды потеряны, важный пропуск останется вечным в нашей истории, и я должен возвратиться ни с чем, без надежды и... без денег... Скажите, у вас была еще старинная живопись на стенах?

Провинциальный чиновник. Живопись? Как же-с! Она стерта по приказанию Василия Кузьмича.

Приезжий. Да что у вас был за варвар Василий Кузьмич?

Провинциальный чиновник. То есть он не то чтоб варвар был; эдаких, знаете, злодейств не делал, а так, крутенок был... вот видите, я расскажу...

Василий Кузьмич. Ну, пошли поминки по мне... дальше, дальше! (*Пролетает через город.*)

Что это? слышится рыдание... Опять мое имя поминают.

Голос в бедной лачужке. О, чтоб этому Василью Кузьмичу не было ни дна ни покрывки! Такая ли была б я теперь... Ластился тогда, проклятый, ко мне: не беспокойтесь, говорил, матушка, уж я все улажу; поднимете дело — хуже будет; я вам за все отвечаю, все ваше сохранится, все улажу... вот и уладил, окаянный; я сдуру-то ему поверила да срок пропустила, а вот теперь и умирай с голода с пятью сиротами, а ведь, кажется, и богат был и важен! Как эдаких людей земля носит!

Василий Кузьмич. Еще поминки! мимо, мимо!.. Нет покоя! хоть бы залететь в какую-нибудь трущобу!.. А, вот еще город, что это? здесь, кажется, весело, ярмарка... Ахти! опять про меня толкуют: говорят, что все разорились оттого, что складочное место построено не там, где бы должно, что и дорог к нему нет, и товары портятся... Ахти, правда! Да что ж было делать? волочился я тогда за одной вдовушкой, а ей хотелось, чтоб ярмарка против ее дома была; сколько хлопот-то было! чего мне стоило и интриговать, и обманывать, и доказывать, что здесь-то самое лучшее и самое выгодное место... а к чему все это повело?.. Мимо! Мимо!.. А как подумаешь, что это в самом деле за распоряжение такое? Уж если умер, так умер — и концы в воду. А то нет — чем ни пошалил, все так в глаза и лезет, все вопит, все корит... право, странное распоряжение...

Нет сил больше! уж где я не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал, — а посмотришь, какие следы

оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает, и отчего? все от безделицы, право от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! индо страшно становится! а между тем так и тянет на родину, так и подмывает. Ну, вот я и здесь! опять меня остановило над Лизиной квартиркой... Что за бедность! к такой ли она жизни привыкла? Исхудала, несчастная, на себя непохожа; куда и красота девалась? — работает над бельем, и слезы так и капают, я чаю, также меня поминает... А это кто к ней входит? барин какой-то; как разодет: видно, богатый; с чем это он к ней подъезжает? И как она обрадовалась ему, вскочила!

Лиза. Я думала, Филипп Андреевич, что вы меня совсем забыли.

Барин. Нет, сударыня, как можно! захопотался немного, — знаете, дела по министерству... Ну, что, как поживаете?

Лиза. Ах, дурно, Филипп Андреевич, очень дурно! Мой поверенный пишет, что никакой нет надежды отыскать мои бумаги.

Барин. Ничего, ничего, сударыня, — это мы все обделаем...

Лиза. Ах, вы истинно мой благодетель! без вас я бы совсем погибла; я и до сих пор живу теми деньгами, которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала, — а заплатить до сих пор — извините, нечем.

Барин. Ничего, ничего, сударыня! после сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать, — а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

Василий Кузьмич. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! да это плут Филька, мой камердинер, переодетый!.. Ну! беда!..

Лиза. Очень понимаю и готова вам служить сколько могу: я сказала, что это серебро матушкино, да кстати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к министру; боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные брильянты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза, Лиза! что ты делаешь! ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаяние!

Филька. Ах нет! сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за печку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свидания... *(Филька выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! попался, приятель! давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свяжите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать... *(Обыскивают комнату и находят за печкою брильянты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! да она не виновата! слышите, она не виновата! Нет, не слышат! Как растолковать им... Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о

поведении Лизы, о давних ее сношениях с вором, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть! Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище!..

Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее не-возвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слышал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят, говорят и так приговорятся, что все кажется болтовнёю! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «нет из могилы возврата»! Ах, если б я знал это прежде!.. Бедная Лиза! Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! неосторожным словом, обыкновенною мирскою шуткою! Но виноват ли я? я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь! Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкою и рассуждением; я хотел детей своих сделать *благоразумными людьми*; хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что я называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали!.. Ох! не могу и здесь дольше оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... ох! это совесть, совесть! какое страшное слово! как оно странно звучит в слухе! оно кажется мне совсем иным, нежели каким *там* казалось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, это если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все говорят, так вот и вся совесть и вся нравственность... Страшно подумывать! Ах, дети, дети! неужели и вас такая же участь ожидает? Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было, вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного, вы поняли бы, что одним этим могут облегчиться мои терзания... И все напрасно! долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения, — все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..

Вот и тюрьма. Вижу в ней бедную Лизу... но что с нею? она уж не плачет, она поводит вокруг себя глазами...

Создатель! она близка к сумасшествию... Дети, знаете ли вы это?.. где они? Младший спит, старший сидит за бумагами... Боже, что в них написано! он обвиняет Лизу в разврате, поддерживает подозрение в воровстве, тонко намекает о ее порочных наклонностях, замеченных будто еще в моем доме... И как искусно, как хитро сплетена здесь ложь с истиною! Мои уроки не потерялись: он понял искусство жить... как я понимал его! Но что с ним? он взглянул на спящего брата: какое страшное выражение в лице его! О, как бы я хотел проникнуть в его мысли... вот... я слышу голос его сердца. Ужас, ужас! он говорит сам себе: «Эта дрянь всегда будет мне во всем помехою; откуда и жалость у него взялась, и раскаяние, и заступничество? Ну, что, если он слупа все выболтает? тогда беда! Нечего сказать — уж куда бы кстати ему умереть теперь!.. А что, мысль не дурная! почему не помочь? стоит только несколько капель в стакан... что

говорится, попотчевать кофеем... А что? в самом деле! снадобье-то под рукою, стакан воды возле него на столе, впросонках выпьет, не разберет — и дело с концом».

Петруша! сын мой! что ты делаешь! остановись!., это брат твой!.. Разве не видишь... я у ног твоих...нет! ничего не видит, не слышит, подходит к столу, в руках его стеклянка... Дело сделано!..

Боже! неужели для меня не будет ни *суда*, ни *казни*? Но что это делается вокруг меня? откуда взялись эти страшные лица? Я узнаю их! это брат мой укоряет меня! это вдовы, сироты, мною оскорбленные! весь мир моих злодеяний! Воздух содрогнулся, небо разваливается... зовут, зовут меня...

В это утро Василий Кузьмич проснулся очень поздно. Он долго не мог прийти в себя, протирал глаза и смутно озирался.

— Что за глупый сон! — сказал он наконец, — индо лихорадка прошибла. Что за страхи мне снились, и как живо — точно наяву... отчего бы это? да! вчера я поужинал немного небрежно, да еще лукавый дернул меня прочесть на сон грядущий какую-то фантастическую сказку... Ох, уж мне эти сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усадительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить... На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!.. Ух! до сих пор еще мороз подирает по коже... А уж двенадцать часов за полдень; эх я вчера засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однако ж, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? к Каролине Карловне или к Наталье Казимировне?

## СВИДЕТЕЛЬ

(Посв. А. И. Кошелёву)

...Я выскочил из коляски и целовал родную землю. Звон русского православного колокола вывел меня из этого чувства самозабвения, которое находит на душу при виде отчизны, особенно после десятилетней с ней разлуки. Невдалеке на пригорке белелись стены монастыря. Забыв усталость, я бросился в отворенные ворота храма, не с холодным любопытством путника, но как младенец бросается в объятия матери. Это испытали все после долгой разлуки с родиной.

Всенощная отошла. Сквозь полукруглые окна проходили длинные, багровые лучи заходящего солнца, волновались в облаках церковного фимиама и рядами ложились на светлую позолоту иконостаса — как долгая, горькая, взволнованная кровавыми страстями молитва, достигшая наконец скинии завета души человеческой. Свежий вечерний воздух проникал в растворенные двери. Миряне начали выходить из церкви; за ними черною полосой потянулась монастырская братия. Я стоял неподвижно; опустелый храм мне казался еще величественнее, еще благодатнее. Его вид наводил те мысли, которые исчезают среди толпы, в жизни мятежной, которых не может уловить слово, но которые так внятно говорят сердцу. Почти неслышный шорох заставил меня заметить, что я не один. В отдаленном углу я заметил монаха, распростертого на хладном помосте. Невольное любопытство заставило меня также остаться в церкви. Наконец отшельник встал; лицо его осветилось лучами солнца.

Незнакомец, казалось, также узнал меня. Мы сошлись ближе.

— Ты ли это, Ростислав?

— Ты ли это, Григорий? — И мы бросились друг другу на шею. Я узнал старого товарища по службе, старого товарища моего детства.

— Что значит твое платье? Что значит твое бледное, изнывшее лицо? Ты ли это, удалой гусар, украшение петербургских балов?

Монах не отвечал ни слова, вздохнул глубоко и повел меня в свою келью. Вот что он рассказал мне:

«Вскоре после твоего отъезда в чужие края я отправился в отпуск к родным; в семье я нашел матушку, уже очень слабую и больную; моего младшего брата я почти не узнал: в его возрасте человек так быстро переменяется, — а я уже лет пять не видал его; теперь ему было около семнадцати лет; он был прекрасен собою и самого милого юношеского характера. Матушка не хотела отпускать его; она его одного из всех детей кормила сама, а ты знаешь, что это обстоятельство производит между матерью и детьми какую-то таинственную, неразрывную, почти физическую связь, которая усиливает в высшей степени и без того горячее материнское чувство и не проходит с годами. Вячеслав совсем было согласился на желание матери. Но когда он увидел мой блистательный мундир, мои усы, наслышался моих рассказов о полковом, приятельском круте, о театре, о всех наслаждениях петербургской жизни, — он позабыл просьбы матери, свои обещания и стал неотступно просить у нее позволения вступить в военную службу. Я присоединил к его просьбам мои; я представил матушке все выгоды, которые ему доставит этот род жизни; напоминал ей, что мы будем друг другу подпорою; обещал быть при Вячеславе неотлучно, быть для него не только братом, но отцом. После долгой борьбы матушка однажды наедине подозвала меня к своим креслам и сказала: «Я не могу больше противиться вашим просьбам. Я не хочу, чтобы дети мои могли когда-либо обвинять меня в том, что я помешала их счастью в жизни. Возьми Вячеслава с собою; но, Ростислав, не радуйся моему согласию; ты не знаешь, какую ответственность я на тебя налагаю; если бы я могла от кресел дойти до кареты, я поехала бы с вами, но это было бы бесполезно; для меня, старухи, все равно — семьсот верст или семь сажень, — мне за вами не угнаться; я была бы вам только помехою в жизни, а ты знаешь, что я не принадлежу к числу тех матерей, которые по какому-то эгоизму любят держать детей своих возле себя на привязи, хотя и уверены, что им собою надоедают. Теперь слушай: Вячеслав дитя; он сам не знает, чего хочет, не знает ни людей, ни жизни, но ты, Ростислав, ты уже не ребенок: ты перешел это время страшного кризиса, когда в голове человека нет ни одной собственной мысли, когда он не может себе дать ни в чем отчета, когда каждое слово, погромче другого произнесенное, может совратить его с прямого пути. Ты, естественно, будешь иметь сильное влияние над твоим братом; еще долго он будет думать твоею головою, чувствовать твоим сердцем, жить твоею жизнью. Береги себя, береги его. Я не приму от тебя никаких оправданий — что он сделает, в том ты будешь виноват передо мною; в твоих сношениях с братом ты должен все предвидеть, все предупредить, и в его поступках ты мне дашь ответ, и в сей и в будущей жизни». Эти слова до сих пор звучат в моем слухе. Матушка была растрогана — я также. Я в душе был твердо убежден, что ее доверенность ко мне не напрасна, и дал ей страшную клятву исполнить ее священный завет.

Срок моего отпуска приблизился, мы вырвались из объятий матушки. Вячеслава я уложил в коляску почти без памяти: он плакал, как ребенок.

Я не буду описывать тебе первых годов нашей петербургской жизни. Я не мог жаловаться на Вячеслава: он был немножко ветрен, но зато сохранил всю девственность души, столь редкую ныне между молодыми людьми; безделица его огорчала, безделица его же веселила; он был весь наружу, говорил все, что ему ни приходило в голову; в веселую минуту прыгал по столам и стульям, в грустный час не мог удержаться от слез; иногда по целым часам бегал по комнате с Боксеном, молодою легавою собакою;



я тогда говаривал, что они любили друг друга по симпатии характеров, ибо один был такой же бешеный, как другая. В самом деле, Боксен, неприступный даже для меня, позволял Вячеславу делать с собою все, что приходило в его ветреную голову, и когда, бывало, они вместе разыграются, надобно было иметь все мое хладнокровие, чтобы или не расхохотаться, или не рассердиться не в шутку; но признаюсь, мне больше нравилось детское простодушие моего брата, нежели ранняя расчетливость некоторых из его товарищей, которые, казалось, были дипломатами еще в колыбели. Я познакомил его со многими дамами; возил на балы; он танцевал усердно, с полным, искренним удовольствием; его веселый открытый вид не мог не нравиться: дамы волочились за ним без всякого милосердия, принимая его за настоящего ребенка, а он, проказник, как говорится, *faisait le gros dos*<sup>1</sup>. Я любовался, смотря на него, как отец на свое дитя.

Наконец наступил давно, нетерпеливо ожидаемый день: Вячеслав был произведен в корнеты; изобразить его радость невозможно; незнакомый с чинным притворством нынешней молодежи, он беспрестанно вертелся перед зеркалом то той, то другой стороной, чтобы лучше видеть свои эполеты; потом то бросался обнимать меня, то надевал треугольную шляпу, то таскал Боксена за лапы. «Ты знаешь ли, Боксен, — говорил он, — что я теперь корнет? Понимаешь ли ты это? Знаешь ли, что ты теперь будешь ходить по Невскому проспекту со мною, с господином корнетом?..» И, казалось, Боксен понимал его; по крайней мере махал хвостом и отвечал на слова Вячеслава громким лаем. Все эти простые происшествия нашей тогдашней жизни, все слова Вячеслава так живы в моей памяти».

Слеза скатилась с ресниц отшельника; он глубоко вздохнул, призадумался, вероятно, для того, чтобы собрать свои мысли, и наконец продолжал:

«У одного из наших товарищей, Вецкого, был старший брат, служивший в статской службе. Я очень любил его; он был человек весьма замечательный по своему уму, но отроду я не видывал человека более неловкого: он был физически какой-то недоносок и потому очень слабого здоровья. Он имел сознание своего физического бессилия и потому не позволял себе никакого удалства, даже никакого гимнастического упражнения. Он ходил медленно, осматривая каждый шаг свой; ездил верхом так, что кавалеристу нельзя было смотреть на него без смеха, и когда молодежь гарцевала на горячих скакунах, он боязливо осведомлялся, какая лошадь смирнее, и тщательно осматривал, хорошо ли подтянута у ней подпруга. К тому же, он имел какой-то недостаток в выговоре, который заставлял его говорить протяжно, почти заикаясь. Можешь себе представить действие, которое он производил в кругу молодых, ловких кавалеристов, полных жизни и отваги, часто доходившей до безрассудства. Вецкий был хороший товарищ; его любили, но всякий почитал обязанностью трунить над ним, над его нежным сложением, неразвязностью, над его осторожностью, которая часто походила на боязливость. Вецкий сносил все эти насмешки с величайшим хладнокровием; иногда отделялся умной шуткой, иногда сам с другими смеялся над собою, но чаще не знал, что отвечать на неожиданные вылазки, ибо казалось, и умственные его способности были так же неразвязны, как телесные. Он принадлежал к числу тех людей, которых легко сбить с толка, забросав их словами, и которые часто никак в первую минуту не найдутся. Но такое состояние было неприятно Вецкому, хотя он и старался скрывать гнев свой под всегда спокойною, холодною наружностью; видно было, что он употреблял все усилия, чтобы не терять власти над собою, приговаривая с улыбкою, что ему сердиться *нездорово*. С некоторого времени я замечал, что брат мой больше всех трунит над Вецким, но мы все так уже привыкли смеяться над нашим *фрачником*, так привыкли видеть в нем забавное препровождение времени, что я не обращал на поведение моего брата особенного внимания; оно всем нам казалось так естественным. Дело было

---

<sup>1</sup> важничал (франц.).

в том, как я после узнал, что Вячеслав приревновал Вецкого к одной красавице, которой, по странному капризу, больше нравился наш неловкий чудак, нежели мой ловкий, прекрасный кавалерист.

Новые офицеры должны были, что говорится, *спрыснуть свои эполеты*; они разобрались днями, чтобы сперва пировать у одного, потом у другого, но скорый выход полков из казарм в окрестности Петербурга заставил их отложить свои пирушки до тех пор, пока не перейдут совсем на летние квартиры. Наконец наступили дни пирушек. Ты не можешь иметь об них понятия; десять лет — целый век в России; миновалось время грубых, необузданных оргий, которые ты еще помнишь; ныне молодые люди благоразумны даже за бутылкой вина; нынешние оргии — чинны, благородны; на них может присутствовать женщина не краснея, но, несмотря на это, шампанское по-прежнему производит на людей свое действие, от него также поднимается кровь в голову. Правда, ныне, говорят, уже не честь пить до того, чтобы свалиться под стол, но по-прежнему от вина человек становится веселее, быстрее, неожиданнее в движениях и по-прежнему все его чувства становятся живее; всякая мысль, иногда забытая в глубине души в трезвом состоянии, растет под поливкой шампанского, как под микроскопом. Пирушка происходила в небольшой деревенской избе; на шампанское не скупилась; к тому же пирушка была не первая, и головы всех, даже Вецкого, были, как говорится, на втором взводе. Вот уже два часа за полночь. Мне стало душно; я вышел из избы, пошел по деревне; как теперь помню, ночь была холодная, светлая; я с наслаждением впивал в себя свежий воздух, любовался видом деревни, которая уже начинала багроветь от первых лучей зари; все было тихо, но светился лишь домик, в котором была пирушка; в окошках мелькали тени; до меня доходили хохот и веселые крики молодежи. Вдруг... все стихло; при этой внезапной тишине я невольно вздрогнул; сердце мое сильно забилося, будто я услышал страшную, недобрую весть. Не отдавая себе отчета в моих чувствах, я невольно удвоил шаги, возвращаясь к избе. Когда я вошел в нее, предчувствие мое оправдалось: со мною в дверях встретился Вецкий, с шляпою в руках: он не сказал мне ни слова, но был бледен как полотно и под равнодушною улыбкой тщетно хотел скрыть внутреннее волнение.

Мне тотчас рассказали, что случилось в мое отсутствие: пустая ребяческая шалость, но которая должна была окончиться кровью...

Молодые люди открыли окошко на двор; один из них вздумал выскочить из него, за ним другой, потом третий; кто падал, кто ушибался, потому что окно было довольно высоко. Общий смех, опасность возбудили в молодежи странное самолюбие: всем захотелось испытать, не сломит ли кто себе шеи при этом подвиге?

— Ну, ты что же? — сказал брат старшему Вецкому с насмешливою улыбкою.

— Я не намерен скакать, — отвечал Вецкий холодно.

— Нет! ты непременно должен скакать.

— Я тебе сказал, что не хочу.

— Ты не хочешь скакать, — отвечал брат, разгоряченный вином, — потому что ты трус.

— Я не советую тебе повторять этих слов, — сказал Вецкий.

Бедный брат не помнил сам, что говорил, что делал.

— Не только повторю, — возразил он, подбоченившись, — но еще скажу графине М... (дама, за которою они оба волочились), скажу ей: ваш нежный обожатель — трус! Не угодно ли об заклад?

Вецкий, несмотря на все свое хладнокровие, вышел из себя; он сильно схватил брата за руку и проговорил:

— Осмелюсь, сумасшедший!

Удар перчаткой по лицу был ему ответом.

Что тут оставалось делать? Некоторое время я думал примирить противников, но как? Заставить брата просить прощения — невозможно: его самолюбие было распалено офицерским мундиром. Он сам чувствовал, что поступил глупо, но начать свое поприще тем, что он называл подлостью, струсить, — на это он не соглашался. Я сам в то время не мог вообразить этого без ужаса. Мне оставалось действовать на Вецкого; я рассчитывал на его всегдашнюю робость, на всегдашнюю его осторожность и благоразумие. В эту минуту эгоизма, мне казалось, ничего не стоило оставить этого человека под игом всеобщего презрения, чтобы только спасти брата. Смирив свою гордость, я пошел к нашему фрачнику.

Когда я вошел в его комнату, он сидел за письменным столом и спокойно курил сигару. Его спокойствие меня встревожило.

— Я хотел говорить, — сказал я ему, — не с вашим секундantom, но с вами. Вы, как человек благоразумный, должны видеть в поступке моего брата не иное что, как шалость мальчика, который не заслуживает вашего внимания.

Вецкий посмотрел на меня с удивлением и улыбнулся.

— Вы поверите, — сказал он, — что я больше, нежели кто другой, жалею о поступке вашего брата. Но позвольте вам сказать: вы сами не думаете того, что говорите; скажите сами, можно ли это оставить без внимания?

Эти немногие слова переменили образ моих мыслей о Вецком. Я захотел тронуть чувствительность его сердца; я рассказал ему все наши домашние обстоятельства — прощание с матушкой, ее слова... Я не щадил Вячеслава, называл его безумным, шалуном; я даже выговорил слово: *прощение*...

— Позвольте вас спросить, — сказал мне Вецкий, с обыкновенною своею холодною улыбкой, — вы предлагаете мне извинение от имени вашего брата или от своего?

Я смеялся и не знал, что ему отвечать. Он устремил на меня проницательный взгляд.

— Я хорошо понимаю ваше положение; я знаю, ваш брат не будет у меня просить прощения, и ему нельзя у меня просить прощения. Я очень сожалею об вас и даже об нем; я не брETER; дуэли не мое дело; мое правило в жизни было: всегда избегать повода к ним, но, — прибавил он выразительно, — никогда не отступить ни шагу назад, когда опасность неизбежна. Войдите в мое положение: сколько раз я отделялся шутками от таких слов вашего брата, за которые другой имел бы уже десятка два дуэлей? Я щадил его молодость и, признаюсь вам, щадил самого себя, ибо в жизни и без того много неприятностей, да она же и коротка: зачем ею жертвовать по пустякам? Но здесь дело другого рода. Подумайте сами, что будет со мною, если вдобавок к общему мнению о моем излишнем благоразумии, я и этот случай оставлю, как вы говорите, без внимания? Вы знаете предрассудки общества: я не найду места на земном шаре; на меня будут показывать пальцами; мне останется застрелиться, но это, согласитесь сами, было бы несогласно с моим *благоразумием*.

Его слова были холодны, просты и насмешливы; по тогдашним моим понятиям, я не мог их опровергнуть.

— Если так, — вскричал я с жаром, — то вы, милостивый государь, будете иметь дело со мною.

— Если это может вам доставить удовольствие, — отвечал Вецкий, отряхая золу с сигарки, — но не прежде, как мы окончим дело с вашим братцем. Впрочем, вы сами знаете, что и брат ваш, вероятно, не согласится на такую сделку. Извините — мне теперь надобно окончить некоторые письма.

С сими словами он холодно поклонился; я выбежал из комнаты с отчаянием в сердце.

Дома ожидал меня секундант Вецкого. Он объявил мне, что ему поручено не соглашаться ни на какие миролюбивые предложения, кроме одного, чтобы брат мой согласился пред всеми офицерами полка принести извинение Вецкому. Не знаю, как ныне, но тогда такое условие казалось совершенно невозможным.

Оставалась одна последняя надежда — Вецкий не умел стрелять. Я, по тогдашним понятиям, был естественным секундантом моего брата, я был всех ближе к нему, и это дело мне казалось неминуемым долгом родства и дружбы. Придумывая все средства, чтобы дать какой-нибудь перевес моему брату, я предложил стреляться в двадцати шагах, и выстрелившему остановиться у барьера. Я надеялся на меткость брата. Секундант Вецкого охотно принял мое предложение. Едва мы окончили эту кровавую сделку, как вошел Вячеслав. Боксен прыгал перед ним с радостным лаем. Брат старался показывать беспечность и спокойствие, играл и прыгал с собакою по-прежнему, но я видел, что он был внутренне взволнован. Вероятно, юноше представлялась жизнь во всей ее прелести; вероятно, ему не хотелось расстаться с нею; я глядел на его свежее, красивое лицо, и сердце мое обливалось кровью. В эти немногие часы я постарел двадцатью годами.

Через несколько минут мы были уже на месте. Мысль, что я привел брата под свинцовую пулю, отнимала у меня все способности думать и действовать; тщетно хотел я показать хладнокровие, требуемое в таких случаях, — я не помнил самого себя: секундант Вецкого исполнил мою должность. Наступила решительная минута; я собрал все свои силы; осмотрел пистолет Вячеслава; они стали на места. Вецкий был холоден как лед: едва заметная улыбка была видна на стиснутых губах его; казалось, он стоял у камина на блестящем рауте. Взглянув на Вячеслава, я с ужасом заметил, что рука его дрожала.

Дан сигнал. Противники стали медленно приближаться... Вид опасности заставил Вячеслава забыть все мои советы — он выстрелил... Вецкий зашатался, но не упал; пуля разбила ему левое плечо.

Скрывая свои страдания, он знаком пригласил Вячеслава приблизиться к барьеру; брат с невольным судорожным движением ему повиновался...

В эту минуту я оцепенел; меня облило холодным потом; я видел, как медленно приближался Вецкий, как наводил он убийственный курок, видел спокойный, неумолимый взгляд Вецкого. Вот он уже в двух шагах от брата; я вспомнил матушку, ее слова, мои обещания, и пришел в состояние, близкое к сумасшествию; у меня потемнело в глазах, я забыл все: и честь, и совесть, и условия общества; я помнил только одно, что *пред моими глазами убивают моего брата...* Я не вытерпел этой минуты, я бросился к Вячеславу, обхватил его, заслонил собою и закричал Вецкому:

— Стреляйте!

Вецкий опустил курок.

— Разве такие были условия дуэли? — сказал он, спокойно обращаясь к своему секунданту.

Общий крик негодования раздался между присутствовавшими; меня оттащили от брата... Раздался выстрел — Вячеслав упал замертво!

Как рассказать, что со мною происходило в это время? Я вырвался от державших меня, кинулся к Вячеславу и, не помня ничего, смотрел на его жестокие, предсмертные муки; я видел, как он судорожно извивался в нестерпимых страданиях! я видел, как глаза его закрылись навеки!.. В эту минуту Боксен, с оборванной веревкой, прибежал на кровавое место, припал к Вячеславу, выли и лизал его рану.

Этот вид привел меня в себя; я вскочил, схватился за пистолет, но Вецкий, ослабевший от раны, лежал уже без памяти на носилках. Распаленный мщением, я было бросился к страдальцу и готов был растерзать его, но меня остановили... Как будто сквозь сон отдавались в моих ушах упреки и суждения моих сослуживцев...»

«Что тебе рассказывать далее? — продолжал отшельник. — Ты знаешь следствия дуэли. Но казнь за преступление была для меня легка: моя казнь была в моем сердце. Жизнь для меня кончилась; я жаждал одного: или в битве с врагами потерять мою ненужную жизнь, или похоронить себя заживо. Первой чести я не удостоился. Здесь, вдали от родины, не знаемый никем, я стараюсь плачем и рыданием заглушить голос моего сердца. Но до сих пор ночью будят меня страшные видения: мне представляются Вячеслав, облитый кровью... матушка, умирающая с отчаяния... и в ушах моих отдаются страшные слова писания: *«Каин, где брат твой?»*»

## КНЯЖНА ЗИЗИ

(Посв. Е. А. Сухозанет)

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг — для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..

*Слова женщины.*

— Откуда ты?

— С биржи.

— Ну, что?

— Каждый день выше!

— Тем лучше.

— Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

— Теряешь?

— О, да что с тобой толковать? ты не поймешь меня...

— Однако ж...

— Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю в моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

— Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

— О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С сими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриалистов, бросился в кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

— У тебя сегодня сплин? — спросил я его.

— Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

— Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

— Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

— Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

— Как же! И про них толковали в журналах, что они *обличают во мне решительное направление к элегическому роду*...

— В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

— Я и теперь от этого не отказываюсь.

— Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток — давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

— Некогда мне теперь об этом толковать, — сказал он, — прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

— погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня — и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

— А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести — *et le baron s'embarrassa*; <sup>1</sup> в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

— Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

— Хорошо, я тебя потешу, буду сентиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает нам открывать под холодным, насмешливым человеком — другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино — мы будем хуже китайцев и американцев.

— Да, я был влюблен, — сказал наконец мой рассказчик, — то есть влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново — и улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, — словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина,

---

<sup>1</sup> и барон смущается (франц.).

как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было *княжна Зизи*. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, господа сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя. Вот тебе разговор о ней:

— Княжна Зизи выходит замуж, — сказала одна из моих кузин.

— За кого?

— За какого-то деревенского помещика.

— Очень бы хорошо сделала, — заметила тетушка.

— А жаль! преумная девушка, — заметил кто-то.

— Большая чудиха, — заметила одна дама.

— Настоящая христианка.

— Большая ханжа, притворщица.

— Премилая...

— Прегордая...

— Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц, — проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготовлявшегося в дипломаты.

— И, помилуйте! — отвечала другая с видимым злобным умыслом, — кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

— Извините, она очень богата.

— Все, батюшка, буки — и пропасть долгов.

— Я вас могу уверить, — сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, синему партнеру, — что княжна никогда не выйдет замуж.

— Почему же?

— На это есть важные причины, — отвечал чиновник, понизив голос.

— Скажите мне, сделайте милость, — наконец обратился я к тетушке, — что это за княжна Зизи?

— Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

— Помню, — высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

— Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду — по театрам, по балам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете, — вообще в ней очень много странного. Прошлую зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала — даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка — однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелою девою, вскормленною романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки, то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудаком. В этих размыш-

лениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтуня, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

— Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи, — сказала мне Марья Ивановна тихим голосом, — я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

— Я храню эти письма как нечто святое, — сказал он, подавая мне одно из них.

— Нумер первый, — продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно, — а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва, 4 февр. 18...

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы — голубой с белыми полосками для Лидии, и пунцовый для меня; по нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька, по обыкновению, рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы Бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина, да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зеваает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю [историю о странствиях аббата Лапорта](#), весь «Вестник Европы». Мне наконец удалось достать «Клариссу» из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, — хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, — такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов, — где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: *продолжение впрредь*; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы ходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится — говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно, — и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-ни-



будь развеселить маменьку; но как это сделать — он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь — хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться — она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, Бога ради, ко мне: по крайнем мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная Зизи.

Р. С. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дождайся, поедет он в нашу пустыню!..»

— Нумер второй, — сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

*«Москва. Февраля 15-го.*

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала, — уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков — премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам Бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее — дай-то Бог! На радости маменька поехала с нами в *город*<sup>1</sup>. Ах, как там весело! Пропать народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материя: ее называют *satın turque*;<sup>2</sup> ее делают двуличневою — прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

— Во всем этом письме, — сказал я моему приятелю, — дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал: вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

— Нумер третий, — хладнокровно проговорил мой приятель.

*«Москва, Апреля 3-го.*

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме, — да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он, — и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: ма-

<sup>1</sup> Так называется гостиный двор в Москве. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> турецкий атлас (франц.).

менька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне — книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он и не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особливо когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый, — всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не счел меня педанткою, — да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет *мама*. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть Жуковского — какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице

*Зизи».*

— Нумер четвертый.

«Маша, участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его — ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его — огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя самой, я готова бежать за ним на край света, — и я не могу его видеть. Целый день я как пришта к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу — и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно, и голова кругом — нет сил больше. Когда он уедет, я сбегая вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их, — а тут мученье; Лидия, холодная Лидия, рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он равнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор. *Его* безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда, я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид — язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удастся; он до сих пор еще не объяснился: я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей

*Зизи!»*

— Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу — ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею.

Это было вчера: я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой — гроб, надежда — смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж — как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется — вот пройдет, вот исчезнет; я силюсь проснуться — тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет; она не понимает своего счастья... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее: слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадется: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностью... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня, — говорила она, — с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старше Зизи не только летами, но и жизнью».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу — дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь, — говорила старуха, оставшись одна с Зинаидой, — что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с имением управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б Бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, Богу так не угодно — да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем, — она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутливого нрава, обращался с Лидиею без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же — со всеми

возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что Бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом. Что сказать тебе об мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне, — это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от *него* мое чувство — нестерпимо; одно мое утешение — молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов, — с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашивать меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания, ей и нужды до того нет — даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадет. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо *он* большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах: он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, — ей ни до чего нет дела, — и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я — боюсь вымолвить — жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постель... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастью благородного, честного человека — способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастью, на жертву чистую, бескорыстную — и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполнину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери,

что я могу ему сказать «*наш* ребенок». О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... *его* младенца. Что со мною сделалось в эту минуту — рассказать нет сил; это было — и невыразимая скорбь и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и — растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!..»

Чрез несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек, родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собою, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда, при взгляде на него, какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаидиной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать, — думала Марья Ивановна, — ей этот молодой человек может понравиться; она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучительного положения». Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день от дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки: но нельзя Лидию оставлять одну; она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет во всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, и, сидя в спальне, качала на руках Пашу, он подошел ко мне и долго смотрел на меня, задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? «Об вас, — отвечал он ласково, вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее... Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностью прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение, или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: «Мне бы хотелось устроить ваше именье, чтоб отделить там вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое». — «А зачем это? — спросила я. — Разве оно не может оставаться под вашим управлением?» — «Но вы можете выйти замуж, — отвечал он, глядя на меня пристально, — надобно, чтобы все было в порядке». — «О, никогда!» — вскричала я,

забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначащие слова, чтоб объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. «Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?» — продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: «Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны». Тут вошла Лидия, повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»

*Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне, месяц спустя.*

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе отвечать тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха, — вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только, кажется, слишком романического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив, по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его *размазней*, в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его, видимо, беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря Бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидиею, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встревожило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное; княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

*Письмо Радецкого к Марье Ивановне:*

«Милостивая государыня, Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны кончить; вы были причиною моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: нравлюсь ли я ей — в этом вся и задача. Чувства княжны Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом — неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью, чем-то унижительным. Они боятся обнажить свое сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избежать от проницательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такую мне кажется княжна Зинаида; отчего это происходит, от образа ли воспитания, или от ложной системы, — не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще и не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного ее слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное «нет» даже тогда, как сердце ее будет противоречить

этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно мне делать, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит; неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтоб слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе «Вестника Европы», перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку: я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее — все это, разумеется, вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она по-прежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день нянчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она — женщина с большим умом, с начитанностью, с пламенным воображением!.. Не понимаю. Бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания.

*Радецкий».*

Получив это письмо Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды — было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого — было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашептывал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело, и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Ивановна получила новое письмо от Радецкого. Вот оно:

«Вы не отвечаете мне, Бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из неиграющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой причины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

— Вы не играете? — сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие, черные глаза.

— И без игры, — отвечал я, — довольно терзаний на свете. Я не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

— Сделайте милость, — сказала она насмешливым тоном, — перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

— Неужли, — сказал я, — оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

— Нет, но я бы послала за доктором.

— А если б доктор не захотел прийти?

— Я бы послала за другим.

— Неужли вы думаете, что менять докторов так легко?

Не знаю, отчего этот незначущий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось, — но она скоро переменяла разговор.

— Вы еще долго останетесь в Москве?

— Не знаю; я не принадлежу самому себе...

— Кому же? — спросила княжна простодушно.

— Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

— Опять! Как вы странны тепер, молодые люди!

— Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется в известных случаях.

— Я без шуток думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у нас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь, и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

— Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

— О нет! — сказала она с обыкновенным выражением, — но о многих, — прибавила она спокойно. — Так мало надобно для счастья жизни, а это не многие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуется, что не могут поймать ее.

— Вы справедливо заметили, что для счастья надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть — об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например женщине, что на это отвечают холодностию, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении — то краснела, то бледнела; грудь ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

— Сделайте мне одолжение, — сказал он приветливо, — займите на минуту мое место за бостоном: мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

— Я не играю... я не умею играть! — сказал я с видимою досадою.

— Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках, — отвечал он, улыбаясь. — Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне одолжение. Извините, что беспокоил вас, — прибавил он холодно.

Я опамятовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя — княжна исчезла; я остался с глаза на глаз с хозяйкой дома.

— Что сделалось с княжною? — спросил я ее.

— Ей спать захотелось, — отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первою минутою, когда Лидия Петровна вскочила, по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший.

Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дождаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как,



может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано послал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости: меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава Богу, здоровы и извоили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следственно, хозяева были дома; это значило просто, что меня не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городкову и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; он прервал мои слова с обыкновенного своею улыбкою, говоря: «И! помилуйте, как это можно! есть ли о чем и говорить! сделайте милость, не беспокойтесь!» — и прочее тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще раз начать говорить с ним — в эту минуту было выше сил моих; однако ж я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно — тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза — и знаете отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает между людьми. Не хочу без вины обвинять его; это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может происходить и от излишней скромности, и от застенчивости; но, воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув в свете некоторой оседлости, или что называют *aplomb*, он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера — может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, человека угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взятков не брал, что он *классик*, прекрасно играет в бостон, пишет шарады — и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное, вечно улыбающееся лицо, — что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради, расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? что она отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленною смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо:

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж! Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжною было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами.

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится и они также. Но, к счастью, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от которых немые делаются говорливыми; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви — я поспешил туда; вхожу: в церкви темно; с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нисколько не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности, или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною было для меня долгом. Я дождался окончания службы и, когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

— Княжна! — сказал я ей, — мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

— Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть; она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.

— Княжна! — сказал я твердым голосом, — вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.

— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета?!

— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед Богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

— Скажите, вы меня не обманываете?..

— Княжна!..

— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

— Я был бы счастливейшим человеком.

— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Через несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку, но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны

по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло полчаса, как я получил от нее следующую записку: «Я согласна отдать вам мою руку и ввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы: не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете».

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастьем. Пишу к вам ночью: душевное волнение мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:

«Все кончено; участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды. «Простите меня, не проклиняйте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!»

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моею жизнью, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого пронизательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и после долгого напряжения я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».

Марья Ивановна на этот раз решила отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое бремя с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, — и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке,

что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя и жертву, прослыть ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата перед Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть, — это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне *препятствует* выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — *его*, ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь иначе других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд *manqué*<sup>1</sup> почитает *его* способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показалась себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удастся, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов; он часто заводил речь о семейственном счастье, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, — для Лидии они были непонятны. Как ни ограничены были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал и какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устраивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетюшек, бабушек — словом, на все *приглашающие* лица, — и благодаря этой тактике выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это, — говорил он, — Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило проницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по

<sup>1</sup> неудавшийся (франц.).

себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь, и очень тонко, над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературой; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмоторца; книги [Сильвио Пеллико](#) нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнью»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?... Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду; весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжной сильно порастил Владимира Лукьяновича. На его лице не было заметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось — и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: *непозволенная страсть*, нарушение долга; она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав няньку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкаф с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в

белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватая ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия, — но тщетно: вся жизнь ее разворачивается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые неожиданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

Действуй! мудрец познается делами;  
Слава с бессмертьем грядет им вослед.  
Действуй! означи благими трудами  
Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств — первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, — но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг — солнце, вольный душистый воздух, а внутри — долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться, — нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, — бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это бореение с самой собою, когда часто оно доводит ее до сте-

пени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убежать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы, как будто волшебством — и она готова броситься в его объятия? «Нет, — думает княжна, пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; Бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье — вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери, — и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжелое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоприятном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжной и в глубокой молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

— Что с вами? — спросила наконец его Зинаида с беспокойством. — Отчего вы так задумчивы?

— Мало ли о чем мне думать! — отвечал он печально, — много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что между тем наводит невольную тоску.

— Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.

Городков вздрогнул.

— Да, — отвечал он, — есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки — вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

— Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, — сказала она, улыбаясь, — я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

— Что до него! — продолжала княжна, — скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

— Я буду говорить с вами откровенно, — сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки. — Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете... — прибавил он, запинаясь, — она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь из любви к ней взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть — что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

— Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видеть, что делается с княжною.

— Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

— Никогда! — вскричала княжна вне себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

— Как это может быть? — отвечал Городков, смотря на нее нежно. — Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и, как бы непроницаемой пеленою, сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опаматовалась.

— Паше пора спать, — сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.

— Паша нездорова, — сказал муж, — мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

— Что такое? — сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила: — Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо несколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей...

Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель — ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест — и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти



невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придавала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались неожиданною помощью, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело — объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою, и задыхающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

— Я пришел поговорить с вами о ваших делах, — сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом. — Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш, я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами позабыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

— Мне ничего не надобно, — говорила она, — я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

— Это невозможно; ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний, обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: «Владимир!..» Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

— Владимир! именем Бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки с умоляющим видом:

— Именем Бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь, — произнесла она, задыхаясь от слез.

— Но завтра, — отвечал Городков, — завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое:

— Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты не видишь?.. разве ты не знаешь?.. Ты... один, ты... один! — вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Чорт возьми! — сказал он, — дело не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянувшись, нет ли в комнате кого из посторонних, и — в одно мгновение исчезла с его лица насмешливая улыбка, — как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжною в это время; к ее счастью, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия, уже беременная, танцевала, как я говорил выше, без устали; в то самое утро, когда Зинаида решила

судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровой. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктор объявил ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить, — и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:

— Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!

Но иногда в минуты бреда на Лидию находил припадок ревности.

— Что вы на меня смотрите? — говорила она, — вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга... я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...

Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностные, давно служащие, что говорится, *кореняки*; между ими несколько дам, а между дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру, рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

— Нет! — сказал полковой лекарь, который любил играть ролю балагура и, мимоходом будь сказано, несколько приволакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать. — Нет, нет, — сказал он, — я узнал недавно шутку, так уж чудо как хитра! На днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека, немало-значащего чиновника в Москве, — так уж могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки; но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окайнная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именищем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

— Купить у нее за бесценок, — сказал старый советник палаты.

— Нет, Флор Игнатьич! — отвечал лекарь, — это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! Купишь за бесценок — молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет — на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турсами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает от нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит — вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула и, как сама она говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю уж, какие средства Марья Ивановна употребила для убеждения своего обожателя, но только чрез несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнью изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая: не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

— На что вам ее? — спросила княжна.

— Я имею поручение, — отвечал незнакомец, — отдать ей письмо очень важное.

— Пожалуйста мне его, — сказала Зинаида.

— Я должен отдать ей собственноручно.

— Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала — едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате слышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удался.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехать. Лицо ее было бледно, но спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою. «Я постараюсь, — сказала она, — сохранить себя для вас». В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

— Ты должна оказать мне услугу, — сказала ей княжна, — и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда куда. Приехав в дом предводителя, княжна оставила свою приятельницу в гостинной, а сама с нежэнскою смелостью пошла прямо в кабинет.

— Ваше превосходительство! — сказала она твердым и несколько торжественным голосом. — Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

— Что с вами, княжна? за кого вы так горячо вступаетесь?

— За тех, — отвечала княжна Зинаида, — за которых некому, кроме меня, вступить. Не смейтесь, Бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

— То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

— Помилуйте, — отвечал предводитель, — у ребенка остается отец!

— Этот человек, — отвечала княжна в сильном волнении, — не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолебенел; одумавшись, он отвечал:

— Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слишком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то если на это будет согласие матери.

— Согласие матери? — сказала княжна с беспокойством. — Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

— Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

— Вы должны к ней ехать вместе со мною.

— Помилуйте, вам ближе это сделать.

— Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.

— Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение, заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

— Почтенного... уважаемого... — повторяла она, — когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

— Но где же доказательства? — сказал наконец, предводитель, вышедши из терпения.

— Доказательства! — воскликнула княжна, — доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас — дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

— Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «Господи, еще жертва!..» — сказала: — Читайте, сударь!

*Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:*

«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке; <sup>1</sup> вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменил мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупателей; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив, — тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня, собственно за мною, ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам небезызвестно, долго искал себе невесты; наконец Бог

<sup>1</sup> общее имение обеих сестер. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря Бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

«Все на свете сем не прочно»;

должно помышлять о будущем; умри жена — чего Боже сохрани! — я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок — чего Боже сохрани! — может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажей леса — хотя бы то было за бесценок — лишь бы не пропустить случая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда Бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе — настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж — понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу сие весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не ровен час, может подвернуться какой-либо смазливенький — тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно — выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете — я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить, и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалеете, только бы не замедлили. Прежде взятыя свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет, то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностию ваш истинный друг и слуга

*В. Городков».*

Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда

глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне, — она все это видела. Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты, — рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его, — Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполовину. Взмолвленный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

— Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете? — сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благоразумие требовало немедленно бежать в комнату больной, расспросить ее, заменить старое завещание новым, — но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений — и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские стклянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверью; потом, в рассчитанное с толком время, двери для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказала очень дурной характер; что она старалась овладеть большою сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изъяз мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке, и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

— Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было сквозь слезы), было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об *интриганке* Зинаиде.

Одна она не потеряла головы.

— Неправда! — сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки, — неправда! сестра не могла быть ему должною — ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

— Как, княжна! вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

— Так вы подайте просьбу...

— Это легко сказать: какие доказательства могу я представить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к чему ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

— А вы еще сомневаетесь в этом, после письма его?..

— Да, письмо! разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

— Что нужды! — отвечала она, но потом, одумавшись, спросила с трепетом: — Это письмо необходимо?

— Необходимо.

— Оно — у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса.

Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей, она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более поуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и, наверное, должна была обвенчать его на себе. Необходимость иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести другой — о разделе имения, а к этому процессу третий — о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему, как к своему избавителю; она рассказала ему всю историю — рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того ни с сего разгорячился и начал приговаривать:

— Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus!<sup>1</sup>

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо

---

<sup>1</sup> И как еще! мы у него все вырвем обратно, чорт побери! (*франц.*).

и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски — значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется — дело, переведите по-русски — пустошь, ни к селу ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся: в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную ролью — *un rôle ridicule et peu convenable!*<sup>1</sup>

Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонацією, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.

Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель — ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — вам остается теперь одно: *очистительная присяга*, — и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.

— Что такое очистительная присяга?

— Вы должны будете идти с большой церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбила лошади — и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться имением племянницы.

— Вот что я узнал, — продолжал мой приятель, — от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный — тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, мистифицировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи

---

<sup>1</sup> роль смешная и неприличная! (франц.)



здесь», — сказал кто-то за мною. «Где? где?» — спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино... В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня — почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

— Позвольте мне вас мистифицировать, — сказал я, — хотя я и без маски.

Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала.

— Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен, я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжной...

Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжной сделалось для меня необходимостью; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады — без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды, после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

— Княжна! мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась, и потом отвечала:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

— Послушайте, — сказал я, — не сочтите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужли нет средства посмеяться над клеветниками?

— Как же? — спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил — и сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия, и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

— И я люблю вас, молодой человек — отвечала она, — но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

— До будущего вторника! ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками, и бродил из угла в угол — и... как все это у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна — и в своем домино.

— Вы не исполнили моей просьбы, — сказала она, — что делать! Но за то я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреде.

— Сядемте, — сказала она мне, — и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас, мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти равнодушна... вы воскресили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

— Пойдите! — сказала княжна, — в этом деле есть препятствие, и очень важное...

— Препятствие! — сказал я, — какое? Вы свободны.

— Препятствие небольшое, но важное, — повторила княжна со смехом, срывая с себя маску, — мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровесница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но — вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастья в жизни, вы — найдете другое.

— Что тебе рассказывать далее! — продолжал мой приятель. — Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью, и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно и насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы — а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

— Пойди! постой! — кричал я ему вслед. — Как же ты не догадался о летах княжны по письмам?

— Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой истории? — отвечал мой приятель.

## 4338-й ГОД <sup>1</sup>

### ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

**Примечание.** Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет **месмерическими опытами**, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изоощренная долгим упражнением, позволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказыва-

<sup>1</sup> По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

ющих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получают сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю, — может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжении нескольких столетий; скажите, что бы мы знали о временах Нехао, даже [Дария](#), Псамметиха, [Солона](#), если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р. Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал [Кювье](#), некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству [Геродота](#), львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчение породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие листовенные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено [Нерону](#), в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в

ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестию, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следовательно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.

*Кн. В. Одоевский.*

От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы.

*Константинополь, 27-го декабря 4337-го года.*

### ПИСЬМО 1-е

Пишу к тебе несколько слов, любезный друг, — с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучно; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аеролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аеролит упал недалеко от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудками метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуть; действительно, если бы аеролит упал несколькими саженьями далее, то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный **гальваническими фонарями**, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас.

Теперь, — теперь слушай и ужасайся! я сажусь в Русский гальваностат! — увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и собственную опасность, — и все наши понятия об этом предмете.

Воля твоя, — летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоявшие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они меня не понимали! они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни; при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови — может быть, тут многое значит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение [Галлеевой кометы](#) на землю, или, если хочешь, соединение ее с землею, кажется делом решенным; приблизительно назначает время падения нынешним годом, — но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

С.-Петербург. 4 Янв. 4338-го.

## ПИСЬМО 2-е

Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено: *Гостиница для прилетающих*. Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белую черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно, — не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию; истинно, дело достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в дома и в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для [негоциации](#) именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить па-



дение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие. Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделали бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закослелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

Р. С. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в [камер-обскуру](#) некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

### ПИСЬМО 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой середине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в середине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься

очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательна коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного размера: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому, — спросил я у смотрителя Кабинета, — что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений, — отвечал он, — но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания, — сказал Хартин, — но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе, как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите, — сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту, — вот, — продолжал мой ученый, — одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного, — заметил смотритель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля; и этим железом могли наносить ему больше вреда?

— Ваше замечание очень остроумно, — отвечал учтивый ученый, — но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину, — сказал Хартин, — на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но, как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р. Х. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек dokonчил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать, — сказал я, смотря на скелет, — что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось, — заметил Хартин. — В огромных связках антиквариата находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель, — но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций, и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово *немцы*; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла. Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России, — сказал я, — это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманны, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы или, правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцов Дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...

— Да! Так думали до сих пор, — отвечал Хартин, — но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиним условились не пропустить первого заседания.

#### ПИСЬМО 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если уютно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не отвлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один



такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и *le menu* <sup>1</sup>. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью; ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

#### ПИСЬМО 5-е

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2300 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на деревья и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случилось видеть такой роскошной растительности.

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы, — это никому не покажется странным; записные ж фешionaбли решительно молчат по целым вечерам, — это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание

---

<sup>1</sup> меню (франц.).

входит наука здравия и часть медицины, так, что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрустала разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборы *à la comète*; <sup>1</sup> они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные плечи, отражались в быстробегающих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные ло-

---

<sup>1</sup> в виде кометы (франц.).

коны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходявшей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света, — все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов, — это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение.

В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами — для гостей; некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком: ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишневному дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (*bouquet*) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от непрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны, — обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции, — все другие берут в руки протянутый от ванны шнурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь, — сказал один, — хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». — «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа, — сказала одна хорошенькая дама, — потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». — «Ваше радужное платье, — сказала щеголиха своей соседке, — так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщенье, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также, — и я также», — вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

## ПИСЬМО 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философы, и историки первого и второго класса. К счастью, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжение нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опытности; из сего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбиво; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание) обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствен за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на его лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались [на] личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять [его]. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна, — непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием, — а на это едва достаёт сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседел от непрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностию и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р. Х.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан.

«Это один из первых памятников, — сказал мне хозяин, — Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

## ПИСЬМО 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю, — сказал он, — позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без

ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружке с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта:

*Петрополь с башнями дремал...*

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету: молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментариев, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли бумагою и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

*«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...»* Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и к кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастью, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании; он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразумение: что значит слово столоначальник? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен, — аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих

сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалованье, пятьсот рублей, с важностью такого места, каково должно было быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что в древности слово рубль было общим выражением числа вещей: как, например, слово мириада; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть великого человека, переживший его по крайней мере четыре тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся доньше от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: *рапорт*, или правильное *репорт*, *инструкция*, *отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их?!

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились.

«Что это такое?» — спросил я у Хартина.

«О, не спрашивайте лучше, — отвечал Хартин, — эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и дру-

гую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение.

«Скажите, — спросил я, — откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?»

«Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться, — а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительною антропологиею, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце».

Здесь мы приблизились к дому.

## ФРАГМЕНТЫ

### I

В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат <sup>1</sup> быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над *Гостиницей для прилетающих*; почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков». — Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же; что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества, — возразил, улыбаясь, трактирщик, — состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.

Американец насмешливо улыбнулся:

---

<sup>1</sup> Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом. (Прим. В. Ф. Одоевского.)



— О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги...

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..

— Вы получаете даром... от вас потребуются в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием, — а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе.

— Это не совсем дурно, — заметил расчетливый американец, — мне подлинно неизвестно было это распоряжение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.

— А откуда вы сели? — смею спросить.

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота *à la fleur d'orange*, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. — Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубкою.

Путешественник кушал за двоих — и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику, — мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

## II

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиним, ординарным историк[ом] при первом здешнем поэте Орлий. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка готовить исторические материалы для поэтических соображений Поэта, или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.)

Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим, — и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными, — ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; [давнее] разделение общества на сословия Истори-

ков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно [или] — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому, — он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходят в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или готовить для него материалы: каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов; физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов [...] испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартину за его благосклонность и внутренне вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

## ЗАМЕТКИ

Сочинитель романа *The last man*<sup>1</sup> так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началась. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в *его* минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей, — тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.

Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, — вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.

---

<sup>1</sup> «Последний человек» (англ.).

## АЭРОСТАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ

Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные *в пространстве*; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, — колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п. — словом, все общественное устройство?

Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приговорительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разума, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.

Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.

Письма из Луны.

Нашли способ сообщения с Луною: она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

## ЭПОХА 4000 ЛЕТ ПОСЛЕ НАС

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

ХІХ век.

Через 2000 лет.

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.

Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта.

В Петербург[ских] письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностью. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнью.

Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства *превращать климаты* или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны.

Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, муксуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы *et les hommes le savent naturellement* <sup>1</sup>.

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенного забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.

Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

Машины для романов и для отечеств[енной] драмы.

---

<sup>1</sup> и люди осознают это естественно (франц.)

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то не долго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десятков лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десятков страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изодрать его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.

Скажите: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это во-очью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. *Non raultum sed multa*<sup>1</sup> — без этого жизнь невозможна.

Сравнительную статистику России в 1900 году.

Шелковые ткани заменялись шелком из раковины.

Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерял) — в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.

Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает.

## ДВА ДНИ В ЖИЗНИ ЗЕМНОГО ШАРА

У графини Б. было много гостей; была полночь, на свечах нагорело, и жар разговоров ослабевал с уменьшающимся светом: уже девушки перетолковали обо всех нарядах к будущему балу, мужчины пересказали друг другу обо всех городских новостях, молодые дамы перебрали по очереди всех своих знакомых, старые предсказали судьбу нескольких свадеб; игроки рассчитались между собой и, присоединившись к обществу, несколько оживили его рассказами о насмешках судьбы, произвели несколько улыбок, несколько вздохов, но скоро и этот предмет истощился. Хозяйка, очень сведущая в светском языке, на котором молчание переводится скукою, употребляла все силы, чтобы расшевелить болтливость усталых гостей своих; но тщетны были бы все ее усилия, если бы нечаянно не взглянула она в окно. К счастью, тогда комета шаталась по звездному небу и заставляла астрономов вычислять, журналистов объявлять, простолюдинов предсказывать, всех вообще толковать о себе. Но никто из всех этих господ не был ей столько обязан, как графиня Б., в это время: в одно мгновение, по милости графини, комета соскочила с горизонта прямо в гостиную, пробралась сквозь неимоверное количество шляп и чепчиков — и была встречена также неимоверным количеством разных толкований, и смешных и печальных. Одни в самом деле боялись, чтобы эта комета не напроказила, другие, смеясь, уверяли, что она предзнаменует такую-то свадьбу, такой-то развод и проч. и проч.

---

<sup>1</sup> В немногом — многое (лат.).

— Шутите, — сказал один из гостей, который век свой проводил в свете, занимаясь астрономией (*par originalité*) <sup>1</sup>, — шутите, а я помню то время, когда один астроном объявил, что кометы могут очень близко подойти к Земле, даже наткнуться на нее, — тогда было совсем не до шуток.

— Ах! Как это страшно! — вскричали дамы. — Ну скажите же, что тогда будет, когда комета наткнется на Землю?

— Земля упадет вниз? — проговорили несколько голосов.

— Земля разлетится вдребезги, — сказал светский астроном.

— Ах, Боже мой! Стало быть, тогда и будет представление света, — сказала одна пожилая дама.

— Утешьтесь, — отвечал астроном, — другие ученые уверяют, что этого быть не может, а что Земля приближается каждые 150 лет на градус к Солнцу и что наконец будет время, когда Земля сторит от Солнца.

— Ах, перестаньте, перестаньте, — вскричали дамы. — Какой ужас!

Слова астронома обратили всеобщее внимание; тут начались бесконечные споры. Не было несчастий, которым не подвергался в эту минуту шар земной: его и жгли в огне, и топили в воде, и все это подтверждалось, разумеется, не свидетельствами каких-нибудь ученых, а словами покойного дядюшки — камергера, покойной штатс-дамы тетюшки, и проч.

— Послушайте, — наконец сказала хозяйка, — вместо споров пусть каждый из нас напишет об этом свои мысли на бумаге, потом будемте угадывать, кто написал такое и такое мнение.

— Ах, будемте, будемте писать, — вскричали все гости...

— Как прикажете писать? — робко спросил один молодой человек. — По-французски или по-русски?

— *Fi donc — mauvais genre!* <sup>2</sup> — сказала хозяйка. — Кто уже ныне пишет по-французски? *Messieurs et Mesdames!* <sup>3</sup> Надобно писать по-русски.

Подали бумаги; многие тотчас присели к столу, но многие, видя, что дело доходит до чернильниц и до русского языка, шепнули на ухо своим соседям, что им еще надобно сделать несколько визитов, и — исчезли.

Когда было написано, все бумажки были смешаны, и всякий по очереди прочитывал вынутую им бумажку; вот одно из мнений, которое нам показалось более других замечательным и которое мы сообщаем читателям.

## 1

Решено; настала гибель земного шара. Астрономы объявили, глас народа подтверждает их мнение; этот глас неумолим, он верно исполняет свои обещания. Комета, доселе невиданная, с быстротою неизмеримою стремится на Землю. Лишь зайдет солнце, вспыхнет зарево страшного *путника*; забыты наслаждения, забыты бедствия, утихли страсти, умолкли желания; нет ни покоя, ни деятельности, ни сна, ни бодрствования; и день и ночь люди всех званий, всех состояний томятся на стогах, и трепетные, бледные лица освещены багровым пламенем.

Огромные башни обращены в обсерваторию; день и ночь взоры астрономов устремлены на небо; все прибегают к ним, как к богам всемогущим; слова их летят из уст в уста; астрономия сделалась наукою народною; все вычисляют величину кометы, скорость ее движения; жаждут ошибок в вычислениях астрономов и не находят.

---

<sup>1</sup> для оригинальности (фр.)

<sup>2</sup> Фи! — это дурной тон! (фр.)

<sup>3</sup> Дамы и господа! (фр.)

— Смотри, смотри, — говорит один, — вчера она была не больше Луны, теперь вдвое... что будет завтра?

— Завтра набежит на Землю и раздавит нас, — говорит другой...

— Нельзя ли уйти на другую сторону шара? — говорит третий...

— Нельзя ли построить подставок, оттолкнуть ее машинами? — говорит четвертый. — О чем думает правительство?

— Нет спасения! — кричит молодой человек, запыхавшись. — Я сейчас из башни — ученые говорят, что, прежде нежели она набежит на Землю, будут бури, землетрясения, и земля загорится...

— Кто против Божия гнева? — восклицает старец...

Между тем течет время, с ним возрастают величина кометы и ужас народный; уже видимо растет она; днем закрывает солнце; ночью огненную пучиною висит над Землею; уже безмолвная, страшная уверенность заступила место отчаянию; не слышно ни стоны, ни плача; растворены тюрьмы: вырвавшиеся преступники бродят с поникшим челом между толпами; редко, редко общая тишина и бездействие прерываются: то вскрикивает младенец, оставленный без пищи, и снова умолкнет, любуясь страшным небесным зрелищем; то отец обнимает убийцу сына.

Но подует ли ветер, раздастся ли грохот, толпа зашевелится — и уста всех готовятся к вопросу, — но его боятся вымолвить.

В уединенной улице одного европейского города восьмидесятилетний старец у домашнего очага готовил себе пищу: вдруг вбегает к нему сын его.

— Что ты делаешь, отец мой? — он восклицает.

— Что делать мне? — отвечает спокойно старец. — Вы всё оставили — бегаєте по улицам — а я между тем голодаю...

— Отец! Время ли теперь думать о пище?

— Точно также время, как и всегда...

— Но наша гибель...

— Будь спокоен; пустой страх пройдет, как и все земные бедствия...

— Но разве ты потерял слух и зрение?

— Напротив, не только сохранил то и другое, но еще сверх того нечто такое, чего нет у вас: спокойствие духа и силу рассудка; будь спокоен, говорю тебе, — комета явилась неожиданно и пропадет так же — и гибель Земли совсем не так близка, как ты думаешь; Земля еще не достигла своей возмужалости, внутреннее чувство меня в том уверяет...

— Отец мой! ты во всю жизнь свою верил больше этому чувству или мечтам своим, нежели действительности! Неужели и теперь ты останешься преданным воображению?.. Кто тебе поручится за истину слов твоих?..

— Страх, который вижу я на лице твоём и тебе подобных!.. Этот низкий страх несовместим с торжественной минутою кончины...

— О ужас! — вскричал юноша. — Отец мой лишился рассудка...

В самое то мгновение страшный гром потряс храмину, сверкнула молния, хлынул дождь, ветер снес крыши домов — народ упал ниц на землю...

Прошла ночь, осветило небо, тихий Зефир осушил землю, орошенную дождем... люди не смели поднять преклоненных глав своих, наконец осмелились, — им уже мнится, что они находятся в образе духов бестелесных... Наконец встают, оглядываются: те же родные места, то же светлое небо, те же люди — невольное движение подняло взоры всех к небу: комета удалялась с горизонта...

Настал общий пир земного шара; нет буйной радости на сем пиру; не слышно громких восклицаний! Давно уже живое веселье претворилось для них в тихое наслаждение, в жизнь обыкновенную; уже давно они переступили через препоны, не допускающие человека быть человеком; уже исчезла память о тех временах, когда грубое вещество посмеивалось усилиям духа, когда нужда уступила необходимости: времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими, земля была обиталищем одних царей всемогущих, никто не удивлялся прекрасному пиру природы; все ждали его, ибо давно уже предчувствие оно в виде прелестного призрака являлось воображению избранных. Никто не спрашивал о том друг друга; торжественная дума сияла на всех лицах, и каждый понимал это безмолвное красноречие. Тихо Земля близилась к Солнцу, и непалящий жар, подобный огню вдохновения, по ней распространялся. Еще мгновение — и небесное сделалось земным, земное небесным. Солнце стало Землею и Земля Солнцем... <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В философском диалоге «Анаксагор», написанном поэтом Д. Веневитиновым, Платон также рассказывает об «эпохе счастья, о которой мечтают смертные». «Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество, продолжает герой диалога, пусть солнце поглотит нашу планету, пусть враждебные стихии расхитят разнородные части, ее составляющие!.. Она исчезнет, но, совершив свое предназначение, исчезнет, как ясный звук в гармонии вселенной».



## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Впервые опубликована в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838, № 1 и 2, с датой 1835, с посвящением Ю. М. Дюамель (Козловской) и за подписью К. В. О. Печатается по собранию «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть вторая, стр. 17—58, с внесением небольшой правки из второго собрания сочинений (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 68).

В бумагах Одоевского хранится не опубликованная им статья «Англomanия» (ОР ГПБ, фонд Од., пер. 13, л. 23—24 и л. 48—51), в которой писатель дает резко отрицательную оценку английской культуре, особенно в области просвещения. В связи с мыслями об Англии, о механическом перенесении ее устоев и традиций на русскую почву и была задумана повесть «Черная Перчатка».

Повесть тематически перекликается со «Сказкой о том, как опасно девушкам...», пародирующей воспитание дворянской молодежи, и с «Городом без имени», критикующем бентамовскую буржуазную организацию общества с его принципом «пользы».

В архиве Одоевского хранится письмо А. А. Краевского (в то время редактора «Литературных прибавлений») от 30 мая 1837 года (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 641, стр. 18—19), в котором он пишет: «Да благословит Бог продолжение «Черной Перчатки» и «Живописца». О первой не хлопчите, что якобы велика: упрячем». 19 декабря 1838 года он снова пишет Одоевскому: «Присылайте, пожалуйста, «Черную Перчатку»: очень, очень нужна мне она теперь; ею начнется первый номер» (ОР ГПБ, оп. № 2, пер. 641, стр. 34).

*Томсон Джемс* (1700—1748) — английский поэт, автор поэмы «Времена года» (1726—1730), в которой любовь к природе и трудовая сельская жизнь противопоставлены праздной и пустой жизни богачей в больших городах. Томсону принадлежит песня «Правь, Британия» (1740), ставшая английским национальным гимном.

*Палей* Вильям (1743—1805) — английский консервативный богослов и публицист.

*«Клариса Гарлоу»* — известный роман в письмах английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761), автора многотомных «семейно-нравоучительных» произведений.

*Аббат Гальяни* (1728—1787) — итальянский философ и публицист.

*«Редгонтлет»* (точнее «Редгунтлет») (1824) — исторический роман Вальтера Скотта (1771—1832).

*Якобиты* — политическая партия изгнанных в 1689 году из Англии представителей королевской династии Стюартов.

## ПРИВИДЕНИЕ

(Из путевых заметок)

Впервые напечатано в «Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду», 1838, № 40, стр. 781—785, за подписью «кн. В. О.»

Впоследствии рассказ вошел в третью часть собрания «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, и при подготовке второго собрания сочинений правке не подвергался. Печатается по изданию 1844 года.

Рассказ был переведен на французский язык и под названием «Une apparition» был напечатан в сборнике «La décameron russe», 1855.

«*Épître à Uranie*» («Послание к Урании») или «*Discours en vers*» («Рассуждение в стихах») — произведения Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера (1694—1778), французского писателя и философа, одного из крупнейших просветителей XVIII века.

## ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1844, XXXII, стр. 305—332, с датой 1838 г., и посвящением Е. П. Растопчиной, за подписью «к. В. О.»

Печатается по собранию «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», 1844, часть третья, куда «Живой мертвец» вошел в серию «Опытов рассказа о древних и новых преданиях», стр. 98—140 и где указана дата — 1839 год.

В 1839 году В. Ф. Одоевский вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским взял на себя неофициальное руководство журналом «Отечественные записки». Роль официального редактора А. А. Краевского в создании этого журнала была второстепенной и искусственно преувеличенной. Исследование архива Одоевского и особенно писем к нему Краевского (ОР ГПБ, опись № 2, пер. 641, 644 и др.) обнаруживает большое значение Одоевского в работе журнала, его руководящее участие и авторство важнейших редакционных статей. Именно в «Отечественных записках» осуществилась мечта Одоевского в создании толстого, всесторонне освещавшего русскую жизнь журнала, которому он посвятил не один проект. «Цель Отеч. Зап.» — стояло в программе обновленных «Отечественных записок», напечатанной в № 43 «Литературных прибавлений» за 1838 г. (стр. 856—858), — «споспешествовать, сколько позволяют силы, русскому просвещению по всем его отраслям, передавая отечественной публике все, что только может встретиться в литературе и в жизни замечательного, полезного и приятного, все, что может обогатить ум знанием или настроить сердце к восприятию впечатлений изящного, образовать вкус. На этом основании «Отечественные записки» должны сделаться и сделаются журналом *энциклопедическим* в полном значении этого слова, то есть будут вмещать в себя все заслуживающее особенного внимания русского читателя в области наук, словесности, искусства и промышленности». А. П. Могилянский в своей статье «А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский, как создатели «От. Зап.» (Известия Академии наук СССР, серия истории и философии, т. VI, № 3, М. 1949, стр. 209—226), сопоставляя эти программные данные с письмами Одоевского к Пушкину, с программой «Русский сборник», убедительно показывает, что последняя предвосхищена проектами «Современника» и «Русского сборника». Обследование обеих архивов: Одоевского и Краевского — показало, что существовал договор редакции журнала в лице Одоевского и Заблоцкого-Десятовского и Краевского с явным приоритетом в начальные годы издания на стороне Одоевского. И только сознательное затушевывание этой роли Краевским оставило в тени деятельность Одоевского как редактора и издателя «Отечественных записок».

Недаром в своей записной книжке 40-х годов Одоевский писал: «С летами я замечаю, что сделал в жизни большую глупость: я старался на сем свете кое-что делать, и учился искусству кое-что делать — но забыл искусство рассказывать о том, что я делаю» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, п. 95, л. 33).

Более ста пятидесяти писем Краевского к Одоевскому говорят о непрерывной руководящей и творческой работе писателя в журнале. Участие его, как писателя, было чрезвычайно важно для Краевского. Об этом говорит его письмо (18 января 1844 г.) к Одоевскому по поводу рассказа «Живой мертвец». «Что же, отец мой? Вы приводите меня в судорожное состояние! Уже 18-е число, а у меня нет ни строчки «Живого мертвеца». Бога ради, пришлите. Иначе мне плохо будет. Пришлите хоть что-нибудь» (ОР ГПБ, фонд Од., опись № 2, пер. 644, стр. 20).

Серьезную размолвку между ними составил вопрос о печатании «Живого мертвеца» под псевдонимом Безгласного. Краевскому очень важно было иметь в числе сотрудников В. Ф. Одоевского, поэтому в одном из писем он решительно настаивает: «Избавьте меня от

безвестного псевдонима — зачем это? Под статью стоит 1838 г., в прошлом месяце вы печатали полную свою фамилию в «Современнике»; на днях выйдут книги с полным вашим именем, и в них будет эта статья: почему же только в «Отечест. записках» надо прятаться за псевдонимом?.. Перемените непременно Безгласного на Одоевского» (Из неопубликованного письма А. А. Краевского от 27 янв. 1844 г. ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 2, пер. 644, стр. 25).

Рассказ был напечатан под литерами: «к. В. О.»

Псевдонимами Одоевский обильно пользовался на протяжении всей своей литературной деятельности. Из наиболее употребительных известны: к. В. О.; Одвский, Одвск.; В. О-й; Б, Ъ, й, С, Ф.; Безгласный; Московский обыватель; Тихоньч; Дедушка Ириней; Иринарх Модестович Гомозейко; Плакун Горюнов; У — У; ХХХ; Питер Биттерман; Филат Простодумов; Любитель музыки и мн. др.

Белинский писал о произведениях писателя, типа «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца» и «Живой мертвец»: «Их цель — пробудить в спящей душе отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеал которой заключается в смелом, исполненном жизни сознании человеческого достоинства» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 305).

Не случайно Достоевский в своем первом произведении «Бедные люди» ставит эпиграфом цитату из «Живого мертвеца» Одоевского. Даже интонация разговорного языка героя переходит в повесть Достоевского, и эпиграф кажется частью письма Макара Девушкина.

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, утешительное, а то всю подноготную в земле вскрывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну на что это похоже, читаешь... невольно задумаешься, а там всякая дребедень и пойдёт в голову; право бы, запретить бы им писать; так-таки просто вовсе бы запретить» (стр. 39).

*Афеньский язык* — условный воровской язык. В архиве Одоевского (фонд Од., опись № 1, пер. 2, стр. 140) отражены занятия Одоевским воровским языком. На отдельном листке выписаны 115 слов и «выражений, употребляемых на воровском языке» (Argos).

*...нашей газеты* — намек на реакционную газету «Северная пчела», издававшуюся Булгариным и Гречем и вызывавшую негодование Одоевского, неоднократно засвидетельствованное в его статьях, произведениях, записных книжках и письмах.

*«Волшебная флейта»* (1791) — опера Вольфганга Амадея Моцарта.

## СВИДЕТЕЛЬ

Впервые напечатан в «Сыне отечества», 1839, т. VII, стр. 77—90. Вошел в часть третью «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», стр. 5—21. Печатается по этому изданию.

Появление рассказа Одоевского в органе реакционного официоза (редактор Н. И. Греч, соредaktor Ф. В. Булгарин) вызвало недоумение и осуждение со стороны современников, знавших о подлинном отношении Одоевского к этому литературному органу. Неизвестный автор под псевдонимом «Сорок лет усердно читающий журналы Б. И.» в «Письме к редактору «Литературных прибавлений» возмущался поступком Одоевского, «который всегда с такою твердостью противоборствовал тому, если угодно, литературному направлению, которое замечается в «Сыне отечества» и в «Северной пчеле», и, кажется, поставил себе правилом показывать, что между им и этим направлением нет ничего общего...» («Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1839, № 9). Н. Ф. Павлов упрекал Одоевского в письме от 6 апреля 1839 года, что он срамит свое имя, «печатаясь в «Сыне отечества» (из переписки князя В. Ф. Одоевского — «Русская старина», 1904, т. IV, стр. 195).

Рассказ был напечатан, вероятно, по инициативе старого приятеля Одоевского Н. А. Полевого, с 1839 года начавшего работать в «Сыне отечества» в качестве неофициального редактора и резко изменившего свои убеждения.

Тот же Полевой привлек его к участию в музыкальном отделе «Сына отечества» и «Северной пчелы», где Одоевский в целях пропаганды своих музыкальных убеждений напечатал немало статей, мистифицируя Булгарина так и не раскрытым в то время псевдонимом «Отставного капельмейстера Карла Биттермана».

Смерть Пушкина, погибшего на дуэли, несомненно, продиктовала Одоевскому сюжет рассказа. Дуэль, как и война, — одно из вопиющих проявлений общественного одичания в глазах Одоевского. Интересно отметить, что во французском сборнике «*La décameron russe...*», Paris, 1855, рассказ появился под названием «*La duel*» («Дуэль»).

## КНЯЖНА ЗИЗИ

Впервые напечатана в журнале «Отечественные записки», 1839, т. I, отд. III, стр. 3—70. В 1844 году Одоевский ввел ее в серию «Домашних разговоров» в свое собрание «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», часть вторая, стр. 355—436, по тексту которого она и печатается. Во втором подготовлявшемся издании поправок в ней нет.

Характеристику оценок высшего общества людям, подобным княжне Зизи, Одоевский повторил и в своих записных книжках: «Петербургское общество преследует людей, замечательных по странности платья, или экипажа, или занятий, — словом, всякого, кто замечен, как кочка на гнилом болоте, — но одевайтесь прилично, давайте балы, и вы можете отдавать на поругание свою жену, предать друга, не платить долгов, оттягивать наследство, подличать сколько угодно, это все *обыкновенные, свойственные человеку слабости*» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, 48, л. 182).

Повесть «Княжна Зизи» заслужила лестную оценку Пушкина, которую он назвал «славной вещью». По свидетельству Белинского, «Княжна Зизи» князя Одоевского читается с наслаждением, хотя не принадлежит к лучшим произведениям его пера» (т. III, стр. 188). В 1844 году Белинский отмечал, что «основная идея <повести> — положение в обществе женщины, которая, по своему сердцу, по душе, составляет исключение из общества и дорого платит за свое незнание людей и жизни, которым слишком доверялась, потому что судила о них по самой себе» (т. VIII, стр. 313).

*...историю о странствиях аббата Лапорта...* — Лапорт Франсис (1812—1880) — французский естествоиспытатель. Изучал фауну и собрал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии.

*Сильвио Пеллико* (1788—1854) — итальянский поэт и политический деятель; преследовался за близость к революционным повстанцам.

## 4338-и ГОД

Утопия не была опубликована при жизни Одоевского. Отрывок из второй части впервые напечатан в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. 1, стр. 55—69, под псевдонимом «В. Безгласный» и с заглавием «Петербургские письма».

Другой отрывок был впервые опубликован в альманахе В. Владиславлева «Утренняя заря», СПб. 1840, стр. 307—352, за подписью кн. В. Одоевского, под заглавием «4338 год. Петербургские письма». Отметим, что В. Владиславлев — литератор и жандармский офицер издавал свой альманах при могущественной поддержке шефа III отделения Бенкендорфа. В архиве Одоевского нами обнаружены два письма Бенкендорфа к писателю с безапелляционно выраженным распоряжением поддержать своими трудами издание Владиславлева (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 14). Показательно, что всегда скрывающийся под псевдонимами писатель в этом альманахе принужден был печататься под полной фамилией.

Остальные отрывки утопии находятся в фонде Одоевского (ОР ГПБ, пер. 1, 13, 20, 23, 26, 31, 54, 55, 80, 92 и др.). Наиболее полно утопия была опубликована в 1926 году в издательстве «Огонек», под названием «4338 год. Фантастический роман» под редакцией и с вступительной статьей О. В. Цехновицера. Затем вторично переиздана в однотомнике В. Ф. Одоевского «Романтические повести», изд-во «Прибой», 1929, под той же редакцией.

Русская литература знает немного утопических произведений; поэтому утопия писателя и общественного деятеля В. Ф. Одоевского представляет собой особый интерес. Недаром на нее еще в 1912 году обратил внимание П. Сакулин («Русская Икария», Современник, 1912, кн. 12; «Из истории русского идеализма», М. 1913, т. 1, ч. 2, стр. 178-202).



Советский исследователь О. В. Цехновицер проделал в 1925—1926 годах большую работу над архивным наследием Одоевского, стараясь выявить утопию наиболее полно. Для этой цели были обследованы многочисленные переплеты фонда Одоевского, сопоставлены различные варианты писем, фрагменты отдельных глав и наиболее интересные заметки утопического содержания, разбросанные без дат и обозначений глав в бумагах Одоевского.

Большинство заметок печаталось по оригиналу рукописей, за исключением отдельных частей утопии, опубликованных в «Утренней заре» на 1840 год и в автографах не сохранившихся.

Утопия не была закончена писателем, несмотря на то что Одоевский возвращался к ней в течение всей своей жизни.

«4338 год» представляет собою третью часть предполагаемой трилогии: в первой части Одоевский хотел изобразить эпоху Петра Великого, во второй — современное ему общество, то есть 30-е годы прошлого столетия, в третьей — Россию в XL столетии.

Первая часть трилогии, вероятно, совсем не была написана, так как в архиве нет никаких следов ее, а вторая и третья значатся под общим заголовком: «Петербургские письма». Со временем Одоевский, отказавшись от написания всей трилогии, работал над утопией как над самостоятельным произведением и даже подготовил к ней предисловие, прилагаемое к «Петербургским письмам».

Отметим в утопии своеобразный, «обеденный коммунизм», характерный для необычайно разнообразных интересов Одоевского — автора «Лекций доктора Пуффа о кулинарии и домоводстве», которые он помещал в приложениях к «Литературной газете», в «Записках для хозяев».

Исторические перспективы Одоевского, как видно из заметки в его архиве, складывались из предположений, что будущая история разделится на следующие периоды: «Древняя от начала мира до Р. Х., средняя от Р. Х. до разделения мира на Китай и Россию; и от разделения мира до наших времен» (ОР ГПБ, фонд Од., оп. № 1, пер. 26, л. 95).

*Месмерические опыты* — Месмер Фридрих-Антон (1734—1815) — австрийский врач, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи так называемого «животного магнетизма». В этом методе, в значительной мере шарлатанском, были некоторые зачатки гипнотического внушения.

*Дарий I* (521—486 гг. до н. э.) — древнеперсидский царь из династии Ахеменидов. Провел реформы, укрепившие персидское государство. Дарий совершил неудачный поход на скифов Причерноморья и начал войны с Грецией.

*Солон* (ок. 638—ок. 559 гг. до н. э.) — выдающийся политический деятель и социальный реформатор древних Афин.

*Кювье* Жорж (1769—1832) — известный французский ученый натуралист и палеонтолог; отстаивал метафизическое положение о неизменности биологических видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, выдвинул теорию геологических катастроф, которая, по определению Энгельса, «была революционна на словах и реакционна на деле» (Ф. Энгельс, *Диалектика природы*, 1952, стр. 9).

*Геродот* (ок. 484—425 гг. до н. э.) — древнегреческий ученый, прозванный «отцом истории». Автор «Истории греко-персидских войн» — выдающейся работы, отличающейся широтой замысла, мастерством изложения, непредубежденным отношением к народам негреческого происхождения. Некоторые исторические факты, излагаемые Геродотом, были впоследствии подтверждены археологическими находками. Говоря о походе Дария на скифов, он описывает жизнь народов южнорусских степей, что имеет исключительную ценность для изучения древнейшего населения юга России.

*Нерон* Клавдий Цезарь (37—68 гг. н. э.) — римский император, прославившийся своей жестокостью.

*Гальванические фонари* — электрические фонари (гальванический ток — старое название электрического тока, возбуждаемого химическими реакциями).

*Галлея комета* — названная по имени английского астронома и геофизика Эдмунда Галлея (1656—1742). В 1718 году ученый открыл явление собственных движений звезд, до того времени считавшихся неподвижными. Галлей высчитал элементы орбит свыше двадцати ко-

мет, в том числе большой кометы 1682 года, носящей его имя, и доказал периодичность ее возвращения к Солнцу. Отметим, что Одоевскому была известна повесть «Галлеева комета» М. П. Погодина, опубликованная в альманахе на 1833 год «Комета Белы», СПб.

*Негоциации* — то есть дипломатические переговоры.

*Камер-обскура* — Имеется в виду фотоаппарат.

*«Петрополь с башнями дремал»* — из поэмы Державина «Видение мурзы».

## ДВА ДНИ В ЖИЗНИ ЗЕМНОГО ШАРА

Рассказ «Два дни в жизни земного шара» был впервые опубликован в журнале «Московский вестник» в 1828 году (ч. IX, № 14, с. 120—128) за подписью «Каллиор» и с датой написания «1825 год».

Поводом к написанию рассказа послужили толки о комете, которая должна была появиться в 1832 году и, по сообщениям некоторых европейских журналов (преимущественно немецких), «сделать удар в нашу бедную Землю». Русские периодические издания ответили на этот слух рядом заметок, целью которых было опровержение «ложной астрологии немцев».

Комета Галлея, или, как ее еще называли, комета Беллы (Вьелы), сразу же становится популярной темой в русской литературе: ей посвящаются специальные альманахи, фигурирует она и в водевилях того времени. Эту тему, помимо «Двух дней...», В. Одоевский развивает и в утопии «4338-й год».